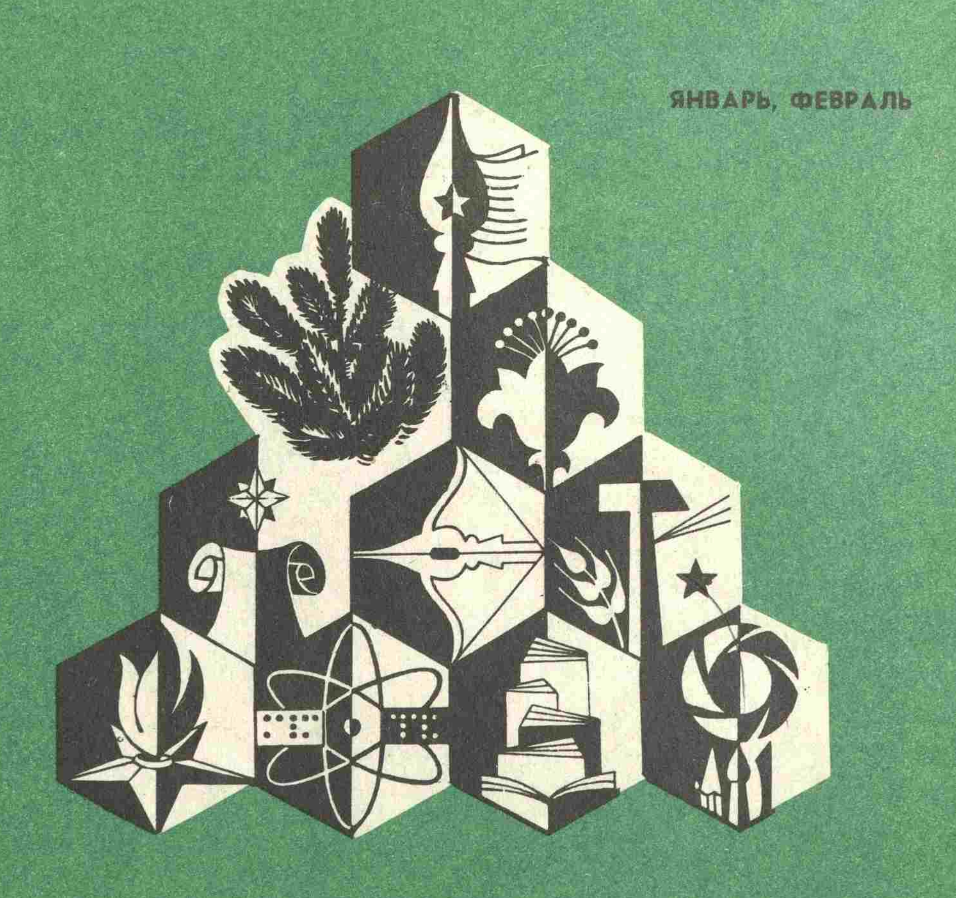
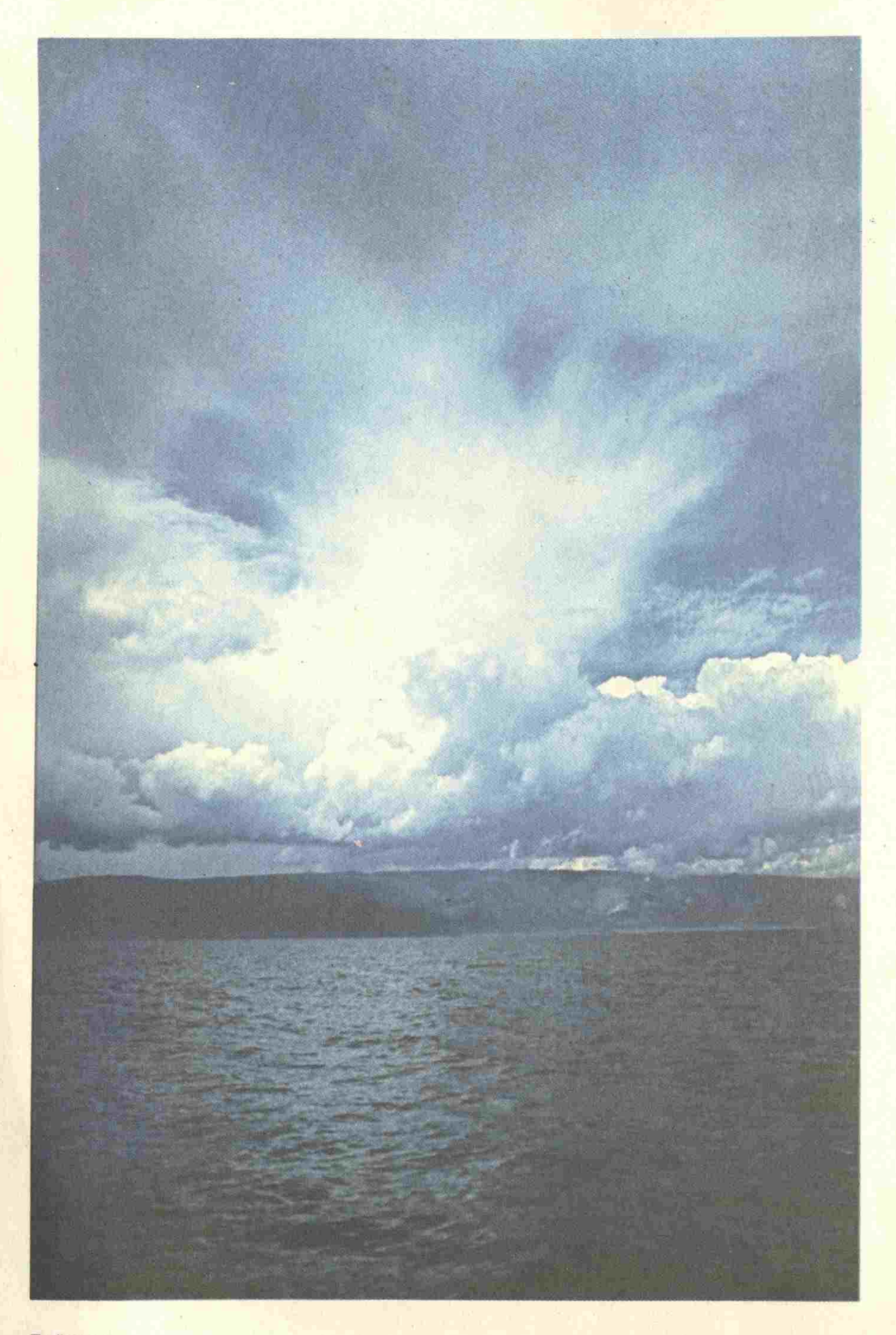
сибирь

/89 1

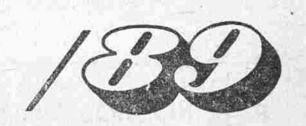
ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ





Байкал







Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

СОДЕРЖАНИЕ



Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

На 2-й, 3-й страницах обложки, на вклейке работы Б. Дмитриева

ISSN 0132-6740



ДВА ПИСЬМА С БЕРЕГА БАЙКАЛА

С этой публикации мы начинаем широкое обсуждение байкальских проблем на страницах нашего альманаха, в котором могут принять участие все, кому не безразлично, что будет завтра с великим озером, что будет завтра со всеми нами.

Письмо первое

Эксперимент продолжается

Сначала хвоя буреет, потом желтеет, потом приобретает цвет красного кирпича и осыпается. Бор засыхает и гибнет на корню. Несмотря на жизненные потенции, первым погибает подлесок: хвоя у него редкая и однослойная, полностью открытая ядогазовым замесам. За подлеском гибнут матерые, полные жизненной силы деревья. Самые чувствительные к промышленным аэровыбросам — сосна и пихта, менее чувствителен кедр, и дольше всех за свою жизнь борется ель. Когда видишь все это своими глазами, начинаешь ненавидеть себя, как прямого виновника гибели своей родины. Это тяжелое чувство, пришедшее однажды, уже никогда не покидает тебя, подсознательно живет в душе и точит ее, как червь. Порой за житейскими заботами вроде и забудешься, и, бывает, надолго, а червь-то вот он, внутри тебя — торк и начинает подтачивать, и ты уже не человек, ты самое отвратительное из всех животных созданий на земле.

Леса южной оконечности Байкала пока спасают частые дожди, которые омывают хвою. Лето 1986 года было жарким и мало дождливым. Влияние промаэровыбросов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината стало очевидным. Большие массивы хвойных лесов стояли бурыми. Пошедшие в рост свежезеленые побеги съежились и замерли. Боры миновала гибель, благо, хлынул спасительный дождь. Продержись сухая погода еще с неделю, и произошло бы непоправимое. И все-таки хвоя в борах осыпалась, и немало деревьев засохло. Там, где удары промаэровыбросов были жестче, хвоя осыпалась зеленой. Идешь по лесу, нечаянно заденешь кедрушечку, и она донага осыпется.

Печальную роль в этом также играют шламлигниновые картонакопители — рукотворные озера, чьи испаряющиеся зеркала насыщают пространство дурнопахнущими веществами. И нужда в этих «озерах» растет с каждой новой варкой целлюлозы. Промышленную грязь девать некуда. Утилизация находится в стадии изучения, о чем черным по белому написано в технических характеристиках. Последний картонакопитель, а всего их 14 по миллиону и более кубометров каждый, вгрызся в сосновый бор и находится в километре от базы отдыха «Ангара» — одной из лучших турбаз в Союзе. Каково теперь отдыхающим? Все новые и новые площади пожирает Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и

постановление правительства о том, что зеленая зона Байкала неприкосновенна, звучит анекдотично. Деревья, как выразился Виктор Петрович Астафьев на одной экологической конференции, самые умные, самые терпеливые, самые необходимые существа на земле. Сколько леса мы переводим на оберточную бумагу, на целлюлозу, на разные билеты, квитанции и т. д. В крупных аэропортах я наблюдал, сколько расходуется бумаги на обертку разных чемоданов, сумок,— и вообразить невозможно. Навряд ли кто из пассажиров задумывался, что эта бумага совсем недавно была сосновым бором, в котором пели птицы и росли грибы. Неужели наши леспромхозы наращивают заготовки только для того, чтоб вот таким образом была реализована древесина? Мы отчуждены от результатов своего труда. Если бы лесоруб видел, что в конечном итоге его ударный коммунистический труд заполняет мусорные отвалы, он наверняка захотел бы изменить свое отношение к труду и к жизни.

Но вернемся к Байкалу, к его южной оконечности, где в полнеба возносятся трубы целлюлозно-бумажного комбината, гиганта химии, как не без гордости называли его в прошлом. Юг он и есть юг, даже на Байкале. Здесь и растительность богаче и многообразнее, и морозы слабее, и лето на две недели длиннее, чем на севере Байкала. И вот в этом уголке решили поставить комбинат, чтобы выпускать целлюлозу «супер-супер». Сразу же оговорюсь, за 26 лет до уровня мировых стандартов продукция комбината так и не поднялась, байкальская вода не помогла. Я вовсе не ставлю целью охаять сегодняшнее и пролить слезу о былом, но иногда невредно оглянуться назад и посмотреть: что же мы утратили и что же приобрели. Многие ораторы по сей день, выступая, повторяют друг за другом: «Еще совсем недавно здесь ничего не было, был дикий, малообжитый край, а теперь, пожалуйста, стоит город и комбинат» и т. д. в таком ключе.

Мне — коренному байкальскому чалдону — все же хотелось бы перечислить, пускай приблизительно, что же было до строительства. Начнем с «дикой» природы и ее живности. От моей деревни Утулик до комбината — 10 километров берегом. На этом расстоянии насчитывалось до 30 глухариных токов. Школьники средней школы № 10 г. Байкальска и не подозревают, что на месте их школы в период весеннего тока самозабвенно распевало до 20 петухов. Работники лесной биржи по сей день вспоминают, как несколько весен подряд прилетали на эстакаду токовать глухари. Осенью леса оглашали изюбриные свадьбы. Соболей чуть ли не в кладовках ловили. Мой отец по 22 соболя сдавал на расплод, а живьем принимали тех, что потемней, да чтоб мех был пошелковистей, с проседью. Икру бычковую после шторма собирали ведрами на прокорм поросятам. Клюкву с кочек, после того как ударит мороз, сметали метлами. Брусники и черники также всем хватало по-за глаза. Собирать зеленую недозрелую ягоду считалось за великий грех. Город Иркутск наполовину снабжался ягодой наших мест. Послевоенную голодовку на Байкале пережили сравнительно легко, всегда можно было достать вилкой из-под камня бычка-желтокрылку. Уж чего-чего, а рыбы здесь во все времена было вдоволь. Также занимались заготовкой кедрового ореха, черемши — дикого чеснока, про который неистовый протопоп Аввакум писал: «сладок зело». Пролетной и гнездящейся дичи было неисчислимо много. Парнишкой я специально занимался подсчетом пролетающих гусей, залезал на крышу и, пока мать не позовет к столу, проглядывал небо в трофейный отцовский бинокль. Однажды насчитал 823 стаи, в каждой по полторы-две сотни особей. Незабываемое это было зрелище! Гусиные стаи точно живые веревки извивались, складывались в полупетли, разрывались, соединялись снова, вытягивались вожаками в одну линию и день и ночь, и день и ночь гребли и гребли, печальными окликами заглушая пространство. Я бы мог продолжать подобные примеры, да больно мне вспоминать, ведь это было совсем недавно: каких-нибудь 20—25 лет назад. Добавлю только, что в нашем районе был рыбозавод, который теперь работает на привозной ставриде в треть своей мощи, поскольку бычка, омуля и белого хариуса давно не перерабатывает. Ловить стало нечего, рыболовецкие бригады

упразднили. А когда-то нам помогали черпать рыбу со своими испытанными снастями рыбаки Азова; сами мы не справлялись. В нашей деревне было дойное стадо коров, насчитывающее более сотни голов. Практически каждый двор держал корову.

Деревня наша возникла в середине прошлого столетия, как ямщицкая — постоялый двор и несколько усадеб. Если поначалу устроителю государевого тракта для закрепления ямщиков приходилось добывать невест из других селений, то вскорости уже в нашу деревню приезжали сватать невест; слава о них как о хороших хозяйках и чистотках разошлась по всей Иркутской губернии. Ко времени прокладки железной дороги (а это было в 1901 году) на крутояром берегу нерестовой реки Утулик красовалась церковь, которая жила своим приходом. В период коммунизации церковь разобрали, свезли за сорок километров в поселок Култук и сделали из нее чайную. До Великой Отечественной деревня, которая стала называться станцией, разрасталась в основном за счет вербованных «расейских» мужиков, как их называли местные чалдоны. Чалдоны — это вторые русские поселенцы восточной Сибири и Байкала. Одни шли полукружным путем с Дона, другие — прямым путем через Алтай с Чалы (довольно обширный регион на Алтае). Встретясь, самоходы спрашивали друг друга:

— Ты, паря, откуда?

— Я-то?.. С Чалы, а ты?

— А я с Дона.

— Выходит, мы — чалдоны, доли того искать нечего, будем строиться да обживаться.

Вот эти-то, по определению С. А. Есенина, глупые сибирские чалдоны, которым сладко спать в сорокаградусный мороз на сене, и составили основное население Байкала. Жили чалдоны открыто, честно и основательно, ни замков, ни цепей не знали.

Бродяге, про которого поется в песне, что взял рыбацкую лодку и переехал Байкал, в наше время такого счастья не отломилось бы, поскольу все лодки или на цепях, или в железных гаражах.

Любопытен такой факт, его поведал мне ныне здравствующий пенсионер А. Кушнырь, в тридцатые годы завербованный из России работать на железную дорогу. По приезде в нашу деревню они с другом пришли на берег Байкала и были удивлены: безветренный Байкал, докуда брал глаз, кипел от плавящейся рыбы. Ничего подобного в жизни им видеть не приходилось. Неподалеку стояла лодка, и они решили покататься, погребли в море, где виднелась метла. Метла оказалась привязанной к наплаву — крестовине. На крестовине была вырезана фамилия владельца. Кушнырь с другом потянули за бечеву, привязанную к наплаву, и вытянули сеть. Она серебрилась от рыбы. Выпутывать из сети рыбу они не умели, и тогда друг Кушныря начал вырезать ее ножом. В это время с берега послышался голос, друзья оглянулись и увидели двух мужчин, которые кричали и грозили кулаками. Перепуганные молодчики комом бросили сеть в море и дали, как говорится, деру. Сначала они погребли в море, потом вдоль берега, в тенистом заливе бросили лодку и вечером, крадучись, вернулись в деревню. В деревне их ожидал сход. Кушнырь с другом, трясясь от страха, упали на колени и попросили милости. Их великодушно простили, но поступок еще долго был на устах всей деревни. Воровства и хулиганства в нашей деревне до шестидесятых годов практически не случалось.

Но вот деревня принимает первый десант строителей будущего комбината и города — людей, испытанных на крупнейших строительных объектах Ангарска, Братска. Они и после Байкальска понесутся на волне новостроек в Саянск, в Усть-Илимск. С их приходом и начались первые столкновения двух жизненных установок. Лодки уже коренным селянам приходилось охранять чуть ли не с ружьями. Недозрелая ягода безбожно выдиралась совками. В лесу часто стали находить шкуры убитых зверей. Скалистые берега реки Утулик в нерестовый период сотрясались от взрывчатки. Естественно, село под таким прессом новостройки не устояло. Стройка была объявлена всесоюзной, ударной, комсомольской, о чем красочно свидетельствовала надпись на быстро смонтированной арке, под которую ежедневно ввозили новые партии осужденных. И мы — тогдашние восьмиклассники, размахивая шапками кричали: «Ура

добровольцам!» Для нас это была первая ложь, как о комсомольской стройке. Комсомольцев было всего ничего, а вот зоны усиленного и строгого режимов, поставляющие дешевую рабочую силу, были. Село за счет засыпнушек, времянок стало разрастаться как опара на дрожжах, но как единый организм существовать переставало: терялась многолетняя связь между дворами.

Кто же составил окраинное население деревни и население города Байкальска? В основном это были люди, которых отторгла родная земля, которые в поисках счастья и длинного рубля покинули барачные городские окраины, окрестные и дальние колхозы, которые оседали после длительных командировок и после выхода из заключения. Здесь мне хочется привести рассказ старшего товарища по работе Хомутова Владимира Осеевича: «В 1961 году мы с другом без паспортов сбежали из колхоза. В Байкальске нас приняли разнорабочими. Перед авансом подходит к нам табельщица и спрашивает, сколько выписывать аванса. Я думал, как в колхозе, говорю ей — 10 рублей. Мой друг пожелал 15. Табельщица удивленно посмотрела на нас и сказала: «Хватит дурачиться, выпишу по 80 рублей». Мы в голос стали просить не делать этого: в получку нечего будет получать. Сошлись на 40 рублях. Подошел день получки, нам выдали по 120 рублей. Признаться, денег таких в колхозе не доводилось зарабатывать, а тут вроде и не очень-то упирались. С радости купили мы ящик водки, на большее фантазии не хватило, и три дня кряду поливали. За прогулы нас чуть не выгнали с работы. Спустя год, приехал я домой в отпуск. Председатель спрашивает, не жалею ли я, что бросил колхоз. Я ему в ответ: «Жалею, что раньше не бросил».

Конечно, теперь Хомутов вспоминает свое крестьянство как нечто естественное, жизненно необходимое, благородное дело, вернулся бы, да надо дорабатывать до пенсии. А тогда он был одним из типичных представителей новостройки. Какую мораль и культуру несли в себе первостроители, ясно и без пояснений. Скороспелый город представлял из себя бесформенного выкидыша шестидесятых годов. Теперь, почти через тридцать лет, у него стало вырисовываться лицо, хотя до сих пор не избавился он от барачного жилья. Что прежде всего помнится мне из того периода жизни? Разгул, я бы даже сказал, узаконенный. Когда видишь, как вгрызается в кедровник, посаженный тобой и твоей матерью, бульдозер и со скрежетом и ревом вскрывает и разваливает почву для нового карьера, и когда ты видишь это изо дня в день, то поневоле начинаешь уверовать в неостановимый технический прогресс и развенчиваться душой. И куда делось то бережное отношение к своей земле, которое воспитывалось годами и веками передавалось с генами по крови? А пили-то, как пили! Ежедневно, не здесь, так там, не в одном месте, так в другом. И порой увеселительные мероприятия организовывал комсомол стройки. Устраивались громкие комсомольские свадьбы — стройка тогда позволяла себе такую роскошь. Только свадьбы эти по сути являли грандиозные пьянки с обязательным мордобоем в конце. После них долго разбирались, кто прав, кто виноват, кто ударил первый, кто последний. Теперь я понимаю, какая тяжесть свалилась в то время на наши неокрепшие юношеские плечи. Какая-то нездоровая романтика захлестывала нас, вечерами мы ходили по деревне и распевали песни отнюдь не комсомольские. И неудивительно, что подавляющее большинство моих сверстников пополняло армию осужденных. Многие некогда крепкие коренные фамилии нашей деревни разлетелись в пыль. Пишу это для того, чтобы теперешние комсомольцы знали, что не только Магнитка и Метрострой были в истории комсомола, но был еще и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

И все-таки было бы неверным освещать только эту сторону жизни, хотя в то время она довлела над нашей психикой. А был еще в нашей жизни, пускай подсознательно, но всегда неотлучно, исполненный невыразимой красоты и силы батюшка-Байкал. И он, окатывая баргузинской волной прибрежные пески и камни, делал свое вековечное дело, обозначенное природой. Вольно или невольно перед ликом Байкала останавливался всякий

человек и, оглядываясь, задумывался о своей жизни. В одиночку и группами, в радости и печали приходили и приходят к нему люди, кто восхититься его красотой, кто успокоиться и собраться с думой, кто прикоснуться к вечности и освежить лицо чистой и всегда свежей его водой. Сколько рыбацких костров зажигалось на его берегах, сколько пионерских! Я и сам любил, насобирав плавника, развести костер на берегу и слушать шелест перекатываемой волной гальки, любил до последней искорки наблюдать закат, как бьется он, точно розовобокий таймень в сетях, и постепенно затихает и угасает, играя всеми цветами побежалости. И не одного меня восхищал, очищал и спасал Байкал и еще будет спасать. Старики рассказывали: сосланные в прежние времена воры, убивцы и прочие варнаки различных мастей, живя на Байкале, утрачивали тяготение к своим прежним ремеслам. Байкал очищает. Отсюда — батюшка, отсюда — священный. Бывало, выйдешь к Байкалу, и дух захватит, засмотришься, забудешься: кто ты и зачем, с какой печалью пришел? Только и сможешь по-старинному воскликнуть: «Велико твое создание, господи!»

А мы и понять не успели, отчего у кедра иголочки мяконькие, а реки, даже зимой, зеленые, не успели понять и ощутить толком жизненную потребность и необходимость в байкальской красоте, а уже замахнулись на эту красоту. И как только рука поднялась? Обеднел наш южный берег, омертвели заливы и губы исчезли в них полутора-двухметровые водоросли. А бывало-то! Весла не протянешь, измучаешься, пока гребешь до берега. Вместе с водорослями исчез и полосатый красавец байкальский окунь, ему не за что стало привязывать икряные оплетки. На грани исчезновения белый привальный хариус, про стерлядь и осетра давно не вспоминают. Осетровые ямы оказались под ударом промышленных стоков, и теперь их дно покрывает слой лигнина. С каждым годом на икромет в реки идет все меньше и меньше омуля, хариуса, ленка. Почти полностью вывелся таймень — самая крупная рыба Байкала.

Более 20 лет существует проблема Байкала. И что же, решена? Ничуть не бывало. Наоборот: все расширяется и усугубляется. Вокруг этой проблемы кормится большая армия ученых. Напротив комбината расположился институт экологической токсикологии, который до недавнего времени стоял на страже выведенной его специалистами по Байкалу формулировки. Вот она: «ВОКРУГ КОМБИНАТА — ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ». Я не стану утверждать, что все сотрудники института были согласны с этой формулировкой, нет, далеко не все, но несогласных успокаивали, а тех, кто пробовал открыто выступать против нее, опираясь на результаты своих исследований, изгоняли. Я мог бы привести многие фамилии таких сотрудников института, но в задачу очерка это не входит. Задача очерка — хоть как-то попытаться высветить жизненную атмосферу района, о котором идет речь.

В настоящее время формулировка изменилась, специалистам по Байкалу пришлось-таки добавить в нее частицу «не». Теперь формулировка звучит так: «ВОКРУГ КОМБИНАТА — ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ», но на это ушло более 10 лет изнурительных, кропотливых научных исследований и наблюдений. Институт-то был подведомственный. Когда обеднение края стало очевидным, а общественное мнение, вопреки технократическому лицемерию, однозначным, наконец поняли, что экспериментировать с Байкалом — преступление. И недаром принято решение правительства о перепрофилировании Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на экологически безвредное производство, а в опасной близости от Байкала, имеется в виду зона водосбора, запретить всякое строительство промышленных предприятий. На последней межведомственной комиссии, состоявшейся в г. Байкальске под председательством Ю. А. Израэля, вскользь обговаривался вопрос о плановом сокращении загрязнения бассейна озера Байкал, как уникального памятника природы. Намечается, правда, пока на словах, достигнуть в недалеком будущем докомбинатовского экологического уровня. Это, безусловно, хорошо. Но вот что настораживает: сам по себе вопрос

у большинства ученых вызвал циничные полуулыбки, дескать, мечтать никому не запрещено, а возможно ли такого достигнуть?

Известно, что один квадратный сантиметр поврежденной почвы природа восстанавливает 80 лет, в тундре — более 100. Южная оконечность Байкала практически изуродована карьерами, шлам-лигниновыми картонакопителями, промышленными и аварийными сбросами. Это те промышленные стоки, которые, не доходя до очистных сооружений, выплескиваются в Байкал. С первых и до настоящих дней работы комбината можно составить целую историю этих сбросов, не говоря о выхлопах в атмосферу, очистка которых до сих пор находится то в стадии наладки, то в стадии ремонта. Порой в городе дышать нечем.

В настоящее время к «голубому оку земли», как называют Байкал, прикованы взоры всего мира. Даже умудрились медаль выдать Байкалу за чистоту. Но каждый старожил знает, что до медали Байкал был гораздо чище. Существует парадокс: с первых дней, когда еще велись изыскания под промышленную площадку, и до настоящих все мы за Байкал, а спросить не с кого. Даже фильм под названием «У озера» сочинили якобы в помощь Байкалу. И по тому, как продолжается эксперимент с Байкалом, можно понять, насколько сильны у нас ведомства, ведомственные науки, а стало быть, и ведомственная истина. Каких только в городе лозунгов нет в защиту Байкала, усыпляющих бдительность экскурсионного люда: «Байкалу чистую воду!», «Передовые научно-технические достижения — на службу защиты Байкала!», «Байкал, ты под нашей защитой!» и т. д. На комбинате существует отдел охраны природы, только что и как он охраняет, непонятно. Имеется также бассейновая инспекция, которая, кроме предъявления иска комбинату за те или иные аварийные сбросы, ничего сделать не в силах.

Возникает законный вопрос: а есть ли в городе «окно», которое высвечивало бы действительную картину нарушений по стокам и нарушений по выхлопам в атмосферу? Такого «окна» нет. Мы хвастаемся очистными сооружениями, дескать, самые уникальные, но у этих уникальных с самого начала не работает фильтровальная станция, нет механической очистки. Рыбаки, рыбачившие очень далеко от комбината, говорят, что случается вместо хариуса ловить на крючок целлюлозу.

Мы все хорошо знаем историю с переброской стоков БЦБК в Иркут. Жителям берегов Байкала не все равно, каким после них останется Байкал, и подтверждением этому служат многие тысячи подписей против строительства трубопровода и горячо проходившие собрания в защиту Байкала. Один пенсионер, байкальчанин, Алексей Иванович Демин, как-то рассуждая о жизни, откровенно признался: «Знаешь, вот я работал на комбинате, получал зарплату, заработал пенсию, или, как у нас говорят, пошел на заслуженный отдых, а как подумаю, что весь мой труд в конечном итоге был направлен на то, чтобы губить Байкал, так безрадостно становится на душе». Другой — руководитель профсоюза, ныне покойный Кузьма Егорович Михалдыкин, который ревностно стоял на страже производства, однажды в нелицеприятном для меня разговоре после общепринятых фраз: «Байкал должен работать на человека», «Прогресс остановить невозможно», «Подумай, что бы здесь было, не будь комбината? Какое бы развитие имел наш край?» и т. д. в конце разговора все же сказал: «Я тоже мечтаю очистить шлам-лигниновые карты, сделать из них пруды, развести сазана и, будучи на пенсии, рыбачить и вдыхать чистый воздух». К сожалению, Кузьма Егорович не дожил до этих дней, может, удастся осуществить его мечтания нам.

Выше я оговаривался, что город мало-помалу приобретает свое лицо. Имелась в виду не только архитектура, но и духовное наследие. За эти годы выросло новое поколение, и не просто выросло, а возмужало в непосредственной близости с Байкалом. Для большинства горожан родина теперь — Байкал. И пусть по-разному складываются судьбы байкальчан, но я уверен: неистребимое, спасительное и святое чувство байкальской красоты не покинет нас до смерти.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО.

Письмо второе
Что происходит?

Мы живем на самом берегу Байкала, и все, что происходит с ним, происходит на наших глазах.

К чести нашей районной газеты «Ленинское знамя» надо сказать, что вопрос о Байкале не сходит с ее страниц. Правда, до времени гласности нас, рядовых граждан, просто не спрашивали ни о чем, да и всякое слово в защиту надо было аргументировать фактами, а все фактические материалы строго охранялись ведомствами, не заинтересованными в их опубликовании.

Но и тогда газета «Ленинское знамя» освещала фактическое состояние водоохранной деятельности БЦБК. 24 марта 1970 года (18 лет назад!) в газете была напечатана статья В. Милютина «Не будет ли синее черным?». В. Милютин, корреспондент газеты, отмечает, что только в 1969 году произошло 1186 случаев сбросов в Байкал некондиционных стоков; с 9 на 10 января 1970 года при аварии за 22 часа в Байкал было сброшено 10 тысяч кубометров стоков, которые содержали 90 килограммов токсических сернистых соединений и около 50 тонн минеральных веществ.

Газета и в последующие годы не раз писала об аварийных и залповых сбросах неочищенных промстоков в Байкал, но с годами внимание к этой теме ослабло, и голос газеты становился все глуше. Но если провести соединительную прямую от статьи Милютина, через горестные восклицания газеты в районном масштабе на протяжении всех лет, к выступлению Забелло в «Восточно-Сибирской правде» 17 января 1988 года, в котором он отмечает регулярные аварийные сбросы токсических веществ в Байкал, получается картина неотразимого убийства озера в угоду ведомственным интересам.

Приходилось слышать, дескать, люди, выступающие в защиту Байкала,— это, в общем-то, люди — ничего, неопасные, но что-то тут такое есть: за горячими молодыми головами, дескать, стоят старшие подстрекатели, ищущие то ли дешевой популярности, то ли особых выгод.

Я — пенсионерка, бывший строитель, не вижу и не ищу выгоды лично для себя. Но я за то, чтобы спасти Байкал если уж не в первозданной чистоте, то, по крайней мере, жизнеспособным со всем своим комплексом живности и растительности.

В. Милютин в упомянутой выше статье приводит (уже тогда!) разговор с технологом БЦБК, где корреспондент спрашивает о возможности сброса сточных вод в Иркут. Ответы сотрудника гидрометслужбы и технолога БЦЗ привожу полностью:

«Сотрудник гидрометслужбы: — Полагаем обратить затраты, требуемые для строительства трубопровода и других сооружений для сброса в Иркут, на существенное улучшение системы очистки промстоков на БЦБК.

Технолог: — Вполне согласен. Экономические расчеты показывают, что капитальные вложения в это строительство составили бы 33 миллиона рублей. Плюс 10 миллионов на эксплуатацию. Тогда как строительство всей системы очистных сооружений обошлось бы в 26 миллионов. Наконец, сброс промстоков в Иркут заставит искать другие источники водоснабжения для Шелехова и десяти населенных пунктов».

Это был голос здравого смысла!

И если еще добавить, что трасса трубопровода должна была пролегать по склонам гор и долинам, регулярно сотрясаемым селевыми потоками и сейсмическими ударами (на карте сейсмического районирования эта зона относится к 9—10 баллам), то просто диву даешься, с какой легкостью вновь возникает вопрос о строительстве водовода. Все разом было забыто, как только прозвучала «труба» ведомственных интересов.

Забыто было, что в результате сейсмической подвижности образовался целый залив Провал,— совсем в недалеком прошлом, при свидетельстве местных жителей деревни Дубинино и других.

О селевых потоках я позволю себе привести примеры из книги Лапердина и Тржиц-

кого «Экзогенные геологические процессы и сели Восточного Саяна»:

«Обладая большой скоростью и огромной таранной силой, потоки, войдя в зону леса, прямолинейно продолжают двигаться до выположенных участков или русел ручьев, сметая деревья, камни, грунты — все, что попадается на их пути. Образуются корыто, или У-образные канавы глубиной от 60 см до 3 м, шириной от 6—7 м до 40—50 м».

Эти наводнения и сели повторяются на Хамар-Дабане каждые 7—10 лет. В 1913 году речка Слюдянка вышла из русла и залила станцию Слюдянка грязекаменными потоками так, что все поезда стояли в грунте до самого пола вагонов.

В 1971 году я была в комиссии по определению последствий июльского наводнения в районе. Так вот, в самом Байкальске в результате размывания дна реки бетонная опора моста ушла в грунт, была буквально проглочена, и мост рухнул.

Поражает легкость и поспешность, с которой Минлесбумпром начал строительство «трубы», щедро запланировав на него около 150—200 миллионов рублей, когда годовая валовая продукция БЦБК составляла 24 миллиона рублей.

Был технико-экономический расчет, выполненный Союзгипроводхозом. Проектированием занимался этот же институт, но только еще занимался, а уже начал рубку леса, и вымахали единым духом просеку в 15 километров! Полностью свести лес на трассе водовода длиной в 72 километра было намечено в августе-сентябре 1987 года. Рубить — не строить!

Общественности с большим трудом удалось остановить это строительство. Осталась только 15-километровая просека, как удар хлыста по лицу родной земли.

В это же время на БЦБК происходит неслыханное дело — судебный процесс над работниками цеха очистных сооружений, допустивших по халатности сброс в Байкал 20 тонн неочищенных сточных вод. Решение суда было гуманным: 20% удержания из заработной платы начальника очистных сооружений Шмаева в течение одного года. Но тут же Шмаев был назначен заместителем директора комбината по охране природы. Странное, надо заметить, передвижение по службе.

В конце сентября 1987 года в Байкальске работала межведомственная комиссия по контролю за состоянием природного комплекса озера Байкал. В процессе этой работы выяснилось, что экологическая экспертиза признала недостаточными технико-экономические расчеты по строительству водовода, посчитав необходимой доработку, после чего состоится рассмотрение вопроса. А В. Г. Распутин здесь же сообщил, что к нему поступило пятнадцать тысяч подписей и писем в защиту Байкала. Так началось общественное движение жителей Прибайкалья, которых уже не устраивали выкладки заинтересованных ведомств и манипулирование процентами вредных и безвредных допусков.

Гораздо понятнее, когда председатель Слюдянского райисполкома Чехов говорит, что в феврале 1987 года БЦБК выбросил на лед Байкала 300 кубометров зашламленных вод и загрязнил озеро на площади 6 квадратных километров; когда в настоящее время воздействие сточных вод БЦБК распространяется по акватории озера на площади в 35 квадратных километров, а зона загрязнения дна расширилась за последние 2 года с 12 до 20 квадратных километров. На южном берегу Байкала полностью исчез бычок-«ширик», как его зовут местные жители, которого еще 10 лет назад было великое множество на песчаном мелководье.

Интересен ответ заместителя директора БЦБК по капстроительству Клименко на вопрос корреспондента «Ленинского знамени»: «Есть ли нарушения со стороны строителей?»:

— Сам факт, что водовод пройдет через речки (через 12 речек и через 12 ручьев) — уже нарушение. Нулевая отметка трассы расположена в водоохранной зоне р. Осиновки. А в Култуке трасса пройдет в пойме р. Култучной. И уже есть акт, составленный местными природоохранными органами.

По сообщению «Восточно-Сибирской правды» от 31 октября 1987 года, работы на трассе водовода приостановлены.

Наконец все же прозвучал со страниц га-

зет и журналов во весь голос вопрос: «Нужен ли трубопровод БЦБК — река Иркут?»

Живет надежда, что нелепое сооружение было недоразумением. В настоящее время строители уже разъехались, организация строительства водовода распущена.

Похоже, Минлесбумпром заскучал и разом обеднел. Куда и подевались щедрые миллионы рублей, которые он был готов пустить в «трубу» за один год.

И снова началось манипулирование процентами, ссылки на затруднение с финансированием. Сошлюсь на редакционную статью в «Ленинском знамени» от 20 февраля 1988 года:

«Для решения природоохранных проблем Байкальскому ЦБК требуется 26 миллионов рублей капитальных вложений, причем 11 из них только на производство строительно-монтажных работ. Естественно, возникает вопрос: кто будет при наших маломощных строительных организациях осваивать огромные капиталовложения. Это, во-первых. Во-вторых, Министерство лесной промышленности выделяет на природоохранные мероприятия только 10 миллионов рублей, из которых 5 миллионов рублей потребуется на подрядные работы (заключение договоров на проектирование, изготовление и размещение заказов на изготовление отечественного оборудования для модернизации ТЭЦ). Растянуты сроки на размещение заказов по изготовлению оборудования по печам «кипящего слоя». Спрашивается, как при таком финансировании, при таком отношении к выполнению природоохранных мероприятий по БЦБК — непосредственному загрязнителю Байкала — проводить в жизнь все положения постановления партии и правительства от апреля 1987 года...»

Это газета «Ленинское знамя» спрашивает нас, читателей.

А кого спрашивать нам?

И вот выступление газеты «Ленинское знамя» с отчетом о работе Слюдянского районного Совета депутатов от 10 марта 1988 года:

«Очень медленно идут работы по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Так, в 1987 году коллектив целлюлозников приступил к строительству пруда-отстойника сметной стоимостью 4 миллиона 467 тысяч рублей. Однако проекта на строительство этого объекта до сих пор нет, работы производятся по рабочим чертежам, в связи с этим допускаются сплошные нарушения природоохранной среды. Руководство БЦБК (директор т. Глазырин) пытается решить эти вопросы, однако сдвигов пока нет».

Равно как не было проекта на трубу, так нет проекта и на те мероприятия, которые должны были быть решены вместе с рождением комбината, а вернее, раньше его, чтобы все строить по проекту. Разница небольшая есть: на «трубу» охотно выделялись 150 миллионов, на природоохранные мероприятия теперь и 10 миллионов невозможно выжать. И Глазырин ли тут виной?

Почти все аварии в промышленности, влекущие за собой катастрофы для экологической среды, считаются у нас допущенными по вине эксплуатационников, по халатности, по недосмотру и т. д. Но корень их гнездится еще в проектной стадии, в однобоком, необъективном проектировании без всестороннего учета возможных экологических последствий, порожденном недальновидным, но мощным ведомственным прессом.

«Ленинское знамя» 15 марта 1988 года опубликовало проект постановления пленума Слюдянского районного комитета КПСС, который состоялся 19 марта и рассмотрел вопрос «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от апреля 1987 года «О мерах по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал в 1987—1995 годах».

В этом проекте постановления пленума, вынесенном на обсуждение широкой общественности всего за 3—4 дня до пленума, в частности отмечалось:

«Под угрозой срыва находятся запланированные на 1988 год важнейшие природоохранные мероприятия по Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Руководство комбината не сумело добиться от Минлесбумпрома СССР выделения необходимого

лимита подрядных строительно-монтажных работ на 1988 год в объеме 10,4 миллиона рублей. В результате полностью не обеспечиваются строительно-монтажными работами строительство пруда-отстойника и плановая реконструкция теплоцентрали комбината. По ряду объектов здесь затягивается проектирование и поставка оборудования».

Можно сказать: «А воз и ныне там...»

Корреспондент «Ленинского знамени» В. Тунин, пожелав увидеть экологический паспорт БЦБК, получил такой отпор у заведующей отделом охраны природы БЦБК Р. М. Зайковой, что задался вопросом: «Что же это за тайна такая за семью печатями — экологический паспорт предприятия,— что ее нельзя доверить районному корреспонденту?» На страницах газеты Тунин и отвечает на этот вопрос: «Разве что по сточным водам Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? Ведь его очистные сооружения действительно являются лучшими по стране в этой отрасли, а вот сброс минеральных солей в килограммах на тонну целлюлозы почти в 4 раза превышает уровень в США. Может, им интересно станет, как это на таких очистных сооружениях добиваются такого сброса минеральных солей? Ну так об этом хорошо известно не только каждому жителю нашей страны. Эта тема не раз и достаточно широко обсуждалась на всех уровнях. А может, дело в другом: в позиции отдела охраны природы комбината и его руководителей? Может, дело, как говорилось выше, в высоковедомственных амбициях, которым не по нраву, когда БЦБК называют непосредственным загрязнителем Байкала?»

Вопрос остается открытым...

РЕНАТА ЯКОВЕЦ



Дмитрий Сергеев

ОСОБНЯК НА ПОЧТАМТСКОЙ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утром настроение не улучшилось. хотя метель на дворе утихла, день выдался ясный. В большие окна гостиной било яркое солнце. Снегопад и ночная пурга подновили сугробы, их слепящая белизна была нестерпима для глаз.

По Харлампиевской шла баба, неся на коромысле полные ведра. Баба одета в тулупчик старинного покроя, вышедшего из моды еще в детстве Елены Павловны. Из ведер выплескивалось, солнце успевало посеребрить летящие брызги, упав на снег, они застывали темными кляксами. Слева вдоль Почтамтской гнал извозчик, издали свистя и гикая на бабу. Та заспешила, шустро семеня ногами, обутыми в неуклюжие пимы, украшенные по голенищу синим и красным узором. Елена Павловна пережила недолгий испуг: ей вообразилось, что рысак сомнет нерасторопную водоносицу. Извозчик крикнул ей что-то озорное, сверкнув белозубой улыбкой из-под заиндевелых усов. Женщина бойко ответила. Парень гоготал, озираясь на нее, и натягивал вожжи, сдерживая разгоряченного жеребца. Седок — недвижимая тумба, увенчанная меховой папахой, — скользнул перед взором Елены Павловны. Закутанный в овчинный тулуп, он если бы и захотел, так и тогда не смог повернуть головы. Подобием ваньки-встаньки качнулся туда-сюда, когда кошевку занесло на повороте.

Сценка ненадолго развлекла Елену Павловну, но сразу же и позабылась. Мрачное настроение накатило на нее с новой силой. Теперь она уже долго, может быть, никогда не избавится от этого гнетущего чувства. Погода неповинна. Лишь вчера вечером ей думалось, что воющая на дворе вьюга угнетает ее. Но вот и хорошая погода не облегчила душу. Пожалуй, и само время не исцелит, хотя принято считать — время врачует.

«Смотря, какой болезнью поражена душа,— невесело подумалось ей.— Бывают болезни неизличимые».

Никаких звуков с первого этажа не доносилось наверх. После вчерашнего Елена Павловна впервые прислушалась к тому, что слышно снизу. А ведь сейчас там кипит работа: переговариваются конторщики и приказчики, подростки-подсобники носят со склада тюки и ящики — идет сортировка и оценка поступившего накануне товара,— мальчишки нет-нет да и перекликаются друг с другом, хохочут, старшие цыкают на них, то и дело хлопает входная дверь; в другой половине нижнего этажа, на кухне, всегда сердитый поутру повар Никифор ворчит на подручных Настю и Пахомку, громыхает посудой, бренчит печной заслонкой...

А наверху тихо. Жизнь в доме течет заведенным порядком, как будто ничего не произошло.

Как будто позади дома в каретном сарае ночью не стояли два воза — обычные деревенские розвальни, груженные сеном.

Елена Павловна не видела, когда они въезжали в ограду, а и увидела, не обратила бы внимания. Ее занимало лишь то, что касалось домашнего обихода — жизни, которая протекала в особняке на втором этаже. Всем, что делается внизу, на первом этаже, тем паче во дворе, ведал ее супруг Иван Артемович Валежин. Более шести лет назад, по смерти своего отца, он вступил во владение капиталом, собственным магазином Валежиных, всеми торговыми лабазами и лавками. Если бы сани, поставленные в завозню, в самом деле были гружены одним сеном, они бы ничуть не занимали Елену Павловну. Даже глядя на них, она бы не увидела их по привычке не замечать многого из обыденной повседневности. Лучше бы ей ничего не знать...

Как-то в полушутливом разговоре при многочисленных гостях Иван Артемович, поддержанный приятелями, убеждал ее, будто в торговом деле вовсе без мошенничества невозможно обойтись. Что-де мошенничество мошенничеству рознь. Плутуют все. Плутовство как бы входит в правила. В доказательство взял пример из картежной игры: нельзя подменять карту, передергивать, пользоваться колодой крапленых карт — это подлость. Картежный жулик не будет принят в общество. Но ведь никто не осуждает игрока, который блефует. А что такое блеф, как не надувательство? Ведь тот, кто блефует, намеренно вводит партнеров в заблуждение — обманывает. Но его же не обвиняют в мошенничестве. Всякий, садясь за ломберный столик, знает про это неоговариваемое условие. Точно так и в торговом деле существуют признанные всеми правила — узаконенный обман. Но есть жульничество, которое преследуется законом и которое считается недопустимым. Если среди купечества и встречаются типы, не брезгающие подобными средствами, так действуют они тайком. И уж коли мошенника уличат, так ему никто не подаст руки, его не пустят на порог в порядочном доме, ни одно благотворительное общество не примет от него пожертвований, хотя бы и назначенных для самых благородных целей.

Не все Елена Павловна поняла, поскольку не была сведуща в картежной игре, но одно уяснила твердо: ее супруг Иван Артемович Валежин ни за какие блага не поступится своей честью. Он, скорее, разорится, пойдет по миру, пустит себе пулю в висок, одним словом, поступит так, как поступают в подобных обстоятельствах порядочные люди, но ни за что не унизится до преступления.

Увы, так она могла думать только до вчерашнего вечера.

Открытие сделала неожиданно. Елена Павловна пребывала в каком-то странном полубреду. Чем было вызвано охватившее ее беспокойство, она не отдавала себе отчета. Сидела в будуаре над раскрытой книгой, давно уже оторвавшись от чтения. Внезапный порыв начавшейся пурги с громким стуком расхлобыстнул форточку, сквозняком загасило свечи. Морозной влагой шибануло в лицо. На улице надрывно одичалыми голосами завывал ветер. Безотчетный страх охватил ее. В полном смятении Елена Павловна выбежала из спальни.

— Глаша!

Глаша не отозвалась. И здесь в малом зале тоже было слышно, как за двойными окнами неистовствовала вьюга. Бесстрастно ровно светили керосиновые лампы, установленные на бронзовых подставках. Тишина в доме казалась подозрительной, таящей опасность.

— Глаша! Ивашка!

Никто не откликнулся. Елена Павловна в смятении кинулась в детскую — там тоже никого.

После она выяснила, что в это время Глаша, Ивашка и старая нянька Мария, полагая, что никто из них до самого ужина не понадобится господам, уединились в полутемной прихожей возле затопленной печи слушать сказки, какими их развлекал хромоногий истопник Поливан. Там же с няней были дети, разинув рты очарованно слушали наивную небылицу о похождениях отважного королевича, который пустился на поиски похищенной царевны за тридевять земель в тридесятое царство.

Все это стало известно ей позже, а в те кошмарные мгновения одна-одинешенька в пустом — ей возомнилось, покинутом — доме она потеряла голову. Дети! Куда девались дети?! Почему все бросили ее одну?

Отсвет лампового луча блеснул на дужке ключа, торчащего из внутреннего замка на двери в рабочий кабинет Ивана

Артемовича. Елена Павловна изумленно смотрела на ключ. Ни разу за шесть лет, прожитых в доме, она не видела ключа от каморки мужа. Слишком велик он был для такой небольшой двери,— скорее, пришелся бы к замку от тюремной камеры.

Под кабинет Иван Артемович занял угловую клетушку. Из непонятной прихоти, из чудачества не захотел перенести стол и сейф в просторную комнату. Свой каприз объяснил тем, что его покойный батюшка управлял делами из этой самой каморки и не худо управлял, и он, наследник, во всем желает подражать основателю торгового дома, не признает перемен.

— Тут и днем свету почти не бывает,— пыталась урезонить упрямца Елена Павловна.

И верно, оконце было крохотное, зажатое в проеме между двумя кирпичными контрфорсами, по причуде архитектора подпирающими бревенчатую стену с наветренной стороны. Елене Павловне всегда казалось загадочным их назначение: стена и без них стояла прочно. В высоту они уходили под козырек крыши. Из-за них свету в закуток Ивана Артемовича вовсе не проникало: среди бела дня зажигали лампу. Однако супруг, во всем остальном уступающий ей, в этом пункте проявил упрямство. Пришлось смириться с его чудачеством.

И еще одну странность подметила она: отлучаясь даже ненадолго, муж всегда запирал дверь на замок. Прибираться у себя позволял Глаше только в его присутствии.

Для посторонних, для гостей, бывающих у Валежиных, считалось, что кабинет Ивана Артемовича в другом месте — под него отведена просторная и светлая комната в два окна на солнечную сторону. Здесь стоял роскошный письменный стол, мягкие стулья и кресла, был шкаф, встроенный в стену,— стараниями Елены Павловны была создана полная видимость рабочей обстановки, приличествующей положению Валежина. Висело большое зеркало, на окнах шелковые гардины, на стене портрет старшего Валежина, довольно искусно выполненный местным живописцем. Здесь Иван Артемович принимал посетителей, и, когда в доме бывали гости, им показывали обставленную комнату, называя ее кабинетом. На самом же деле большую часть времени она пустовала и в силу этого была лишена подлинного уюта, несмотря на усердие Елены Павловны. Она сама не любила задерживаться тут, хотя придирчиво следила, чтобы в кабинете всегда было прибрано. В отличие от рабочей каморки, кабинет никогда не запирался.

— Ваня! Иван Артемович!— панически вскрикнула Елена Павловна. Дернула за ручку — дверь распахнулась. Пламя в большой настольной лампе осело, пыхнуло копотью, но не погасло. Ивана Артемовича за столом не было. Елена Павловна в полном недоумении застыла на пороге. После она сама поражалась, почему ей не пришло простой мысли: Иван Артемович покинул каморку обычным путем, выйдя через дверь. Вероятно, он сильно спешил и потому не запер замка. В смятении она начала искать таинственно, как возомнилось ей в то мгновение, исчезнувшего Ивана Артемовича. Закуток был настолько мал, что спрятаться взрослому в нем совершенно негде. Но рассудок у нее точно помутился, она поступала как во сне: заглянула под стол, под стул, в корзину для мусора, пыталась выдвинуть ящики письменного стола и, казалось ей, ничуть бы не удивилась, обнаружив в любом из них своего супруга. Ящики были заперты, не поддавались ее усилиям. Она машинально снова и снова хваталась за их ручки в безуспешных попытках открыть. Увидела створку железного сейфа, вправленного в стену, рванула ее на себя. Чугунная дверца скрипнула и поддалась. Елена Павловна схватилась за ручку обеими руками и распахнула сейф. То, что ей открылось, окончательно сбило ее с толку: вместо полок и ящиков, встроенных в потайной сейф, на нее глянула черная пустота. Отверстие было не настолько большим, чтобы в него смог пролезть даже подросток, но тем не менее Елена Павловна заглянула внутрь, совершенно бездумно надеясь за железным створом отыскать исчезнувшего супруга. Дыра уходила в стену и проваливалась вглубь. Как раз в этом месте бревенчатая стена дома соприкасалась с контрфорсом, выложенным из кирпича с наружной стороны. Ламповый свет, проникая в тайник, освещал устье дыры. Просунув ту-

да ладонь, Елена Павловна ощутила спертое и влажное веяние пустоты. В лицо дохнуло застоявшимся воздухом. До слуха внезапно отчетливо донеслись голоса и среди них голос Ивана Артемовича. Не будь ее волосы уложены в прическу и запрятаны под домашний чепчик, они поднялись бы дыбом: ей вообразилось, что она слышит разговор из преисподней.

Состояние, близкое к безумию, длилось мгновение. Десятки различных чувств сменились у нее, прежде чем она уразумела истину. Безудержный истерический хохот накатился на нее. Она захлебывалась от смеха, не будучи в силах совладать с собой. С трудом одолела приступ истерики, взяла себя в руки. И лишь после этого вслушалась в оживленный взволнованный разговор, происходивший внизу.

Прийти в себя помогло и то, что буквально секундой раньше она услышала звонкие, радостно возбужденные крики детей и тихий урезонивающий голос старой няньки. Рассудок у нее точно пробудился.

Собеседники Ивана Артемовича ей не были знакомы. Она не вдруг разобралась, о чем они говорят, отчего все так встревожены. Мало-помалу суть дела прояснилась. Елена Павлова отказывалась верить тому, что услышала. Услышанное настолько потрясло ее, что она чуть было не кинулась вниз, чтобы без промедления установить: правда ли то, что они говорят, не есть ли это тот самый блеф, к которому прибегают опытные картежники, когда хотят обмануть простаков.

От опрометчивого шага ее удержала мысль, что ей ведь придется тогда объяснить, каким образом она подслушала разговор, не предназначенный для посторонних ушей. У нее не было никакого разумного оправдания.

Теперь, когда ужас, недавно владевший ею, окончательно развеялся, все, казавшееся таинственным, объяснилось просто. Причина, понудившая ее войти в запретную комнату да еще начать тут шариться, самой ей казалась неоправданной. И если она сошлется на нее, ее рассказ прозвучит фальшиво, надуманно. Она живо вообразила себе пытливый взгляд Ивана Артемовича, каким он наградит ее, неуловимую усмешку, скользнувшую по его губам, воочию представила, как она зальется краской, вспыхнет от негодования, что он посмел заподозрить ее во лжи, и как этим только умножит его подозрительность и недоверие. Вообще, что бы она ни сказала, как бы ни поступила, все будет выглядеть неуклюжей попыткой оправдать свой неблаговидный поступок — подслушивание.

Озираясь, точно она и в самом деле совершила бесчестье, Елена Павловна вышла из каморки, убедилась, что никто не видел ее, и тихонько притворила дверь. Недавно пережитый страх все еще гнездился в ней, чтобы избавиться от него необходимо было сейчас же, сию минуту увидеть своих малышей, приласкать их. Только тогда ее страх испарится окончательно.

Чуть не бегом устремилась она в детскую, но у самой двери остановилась. Другое, столь же властное чувство, как и недавний страх, придавило ее. Силы покинули ее, она едва удержалась на ногах.

Ее супруг Иван Артемович — преступник! За то, что он совершает... Каким наказанием карается подобное преступление, она не знала, могла лишь предположить — каторга. А если кара и не столь суровая, так все равно — суд, позор, бесчестье...

Идти с этаким грузом на душе в детскую, улыбаться, ласкать, смотреть в невинные младенческие лица у нее недостало сил.

После, наедине у себя в спальне Елена Павловна, вновь и вновь возвращаясь к недавно пережитому, осмыслила и разобралась, что и как произошло. Иван Артемович, запершись в своем тайнике, подслушивал разговоры, какие в его отсутствие вели между собой конторщики и приказчики. Таков был способ надзора за подручными, установленный его батюшкой, выходцем из мужиков, человеком не очень-то щепетильным в вопросах чести, но сметливым и хитрым. Иван Артемович, хотя и получил приличное воспитание, однако не погнушался воспользоваться испытанным методом тайного контроля. Вот почему он так держался за свою каморку и оберегал ее от посторонних. На сей раз известие, услышанное им, было столь важным и неожиданным, что потребовало его незамедлительного вмешательства. Видимо, он был сильно взбудоражен, в спешке сунул в за-

мочную скважину не тот ключ, но исправлять ошибку не стал: рассудил, что за несколько минут, пока он будет в отлучке, никто не посмеет войти в запретную комнату. Он был почти прав. Ведь если бы внезапно начавшаяся пурга не ввергла Елену Павловну в панику, ей в голову не пришло бы сунуться в кабинет мужа. Но случилось то, что случилось: она раскрыла тайну, тщательно оберегаемую Иваном Артемовичем от домочадцев. Вот зачем архитектору понадобились бессмысленные контрфорсы — в одном из них проложен слуховой колодец!

О, если бы раскрытием одной этой тайны и ограничилось... Ее муж связан с контрабандистами, с людьми вне закона. Чудовищно!

Прошло время ужина: уже и часы пробили, и по звукам, какие доносились к ней из коридора, она знала — вся семья в сборе за столом, ждут только ее.

Раздались быстрые, легкие шаги — явилась Глаша, посланная Иваном Артемовичем.

— Передай: пусть ужинают без меня. У меня разболелась голова. Скажи: ничего серьезного, легкое недомогание.

Знала, что после известия, которое принесет Глаша, муж непременно заглянет к ней справиться о ее самочувствии. Но это лучше, нежели встреча в столовой. Здесь он не будет видеть ее лица, ее глаз. Она ведь не сможет притворяться, делать вид, будто ничего не случилось. Поспешно загасила лишние свечи, оставила одну в изголовье.

Стремительно, без обычного предваряющего стука в дверь вошел Иван Артемович. Голос встревоженный, участливый. Справился, что с нею. Все сейчас удивляло ее: и то, что он способен проявить участие, и что его встревожил такой пустяк, как головная боль у жены. Когда же он начал настаивать, чтобы немедленно послать за врачом, встревожилась она. Ничуть не хотелось ей лгать, притворяться больной. Насилу убедила мужа, что ни в чьей помощи она не нуждается, ей необходим только покой, к утру она оправится без посредства доктора. Условились на том, что утром, если не полегчает, тогда он, уже не согласовывая с ней, пошлет Глашу за Виктором Сергеевичем. Елена Павловна согласилась: к утру она надеялась хорошенько обдумать все и решить, как ей поступить.

После ужина, ближе к ночи Иван Артемович вторично навестил ее. Бесшумно опустился на стул возле кровати. Комнату озаряло робкое пламя ночника, установленного в изголовье, чтобы можно было погасить не поднимаясь с постели. Елена Павловна с невольным изумлением и неприязнью подметила маслянистый блеск в глазах супруга, которые сейчас казались совсем черными и большими.

— Дружок мой, Лена, что с тобой?— голос был нервным и вкрадчивым. По его интонации, а более того по жаркому прикосновению мужниной руки она поняла, что не одна лишь забота о ее состоянии привела его в ее спальню.

Она резко отстранилась от его ласкающей руки. По этому непроизвольному жесту он уловил ее нерасположение и тотчас переменился.

— Может быть, все-таки послать за Виктором Сергеевичем? Не пришлось бы поднимать его с постели посреди ночи.

Муж показывал ей, что не обижен, понимает ее состояние, смирился с тем, что ночь проведет в одиночестве, думает сейчас только о ней, взывает к ее благоразумию. Действительно, если необходим доктор, так лучше потревожить его сейчас, чем почью.

— Не нужно. Со мной уже было. Высплюсь — и все пройдет.

— Не понимаю, отчего ты упорствуешь?— мягко возразил он.

— Ах, оставьте меня, ради бога!— прервала она дальнейший разговор на эту тему.

Было за полночь, а она все еще не сомкнула глаз. Иван Артемович, небось, уже седьмой сон смакует. Он имел обыкновение засыпать сразу, как ляжет, и спал непробудно до утра. Поднимался рано, это вошло в привычку смолоду: отец не позволял нежиться в постели.

— У лежебоки ни денег, ни ума не накапливается, — наставлял он.

Спозаранку, одевшись по-домашнему, спускался вниз, где его уже ждали приказчики и конторские. За столом он появлялся вовремя, прибранный, переодетый, пахнущий розовым мылом и одеколоном.

—С0095—

Домашний уклад наверху был раз и навсегда установлен Еленой Павловной. Эту обязанность она возложила на себя с первых дней замужества. Иван Артемович подчинился без протеста, приноравливая свои дела к распорядку, введенному женой. Он охотно передал ей бразды правления домашним хозяйством, поощрял все новшества, вводимые ею, по ее подсказке сменил неугодную прислугу. Ей мнилось, что поступает он так, признав превосходство ее вкуса и воспитания. Хотя Валежины по третьему поколению значились в купеческом сословии, но все повадки домочадцев были скорее мужицкими, нежели господскими. У них было даже заведено обедать не в столовой, а внизу, на кухне, за общим столом с челядью. В столовой накрывали только принимая гостей. В доме царила патриархальная старина, не стесняемая жестким этикетом. Елена Павловна сломала этот обычай.

Она лишь сейчас вдруг поняла, что Иван Артемович, в сущности, не придавал ни малейшего значения новшествам, какие она вводила, не замечал их, как человек, безразличный к веяниям моды, не замечает обуви на своих ногах: лишь бы не стесняли движений, не натирали мозолей, вот и все, что он требует от сапог. Ее мужу важно было одно, чтобы ему не мешали заниматься делом, а во что он должен одеваться, выходя к столу, из каких приборов есть пищу, ему безразлично. Наклонностей гурмана у него не было. Он даже и не заметил, что в этом пункте Елена Павловна добилась многого: с появлением в доме Никифора, которого она буквально переманила от Лоскутовых, со стола исчезли простые блюда, какие преобладали прежде: каши, борщи, кулебяки, блины, рыбные пироги, взамен появились бульоны, пюре, различные подливы и соусы — изощрения французской кухни, ведомые Никифору. Это новшество составляло предмет тщеславной гордости Елены Павловны. Ей льстило слышать восхищенные отзывы от всех, кто бывал в доме Валежиных. Иван Артемович к переменам, вводимым ею, относился снисходительно, как взрослый к детским шалостям. Он без восторга, но и без особых усилий исполнял все требования этикета, какие на него накладывало занимаемое им положение в обществе. Может быть, именно в силу того, что он не придавал серьезного значения своему внешнему образу, все давалось ему с поразительной легкостью, без малейших усилий, точно он был прирожденным аристократом. Елена Павловна, бывшая с ним на приемах, не без гордости подмечала эту особенность. Иван Артемович, попадая в любое окружение, не терялся и не конфузился, как многие из купеческих отпрысков даже более высокого ранга.

«Контрабандист с великосветскими манерами!» — мысленно воскликнула Елена Павловна.

Она знала, что обречена на бессонную ночь. Разрешить задачу, как ей поступить завтра, было не просто.

Через окна, облепленные изморозью, в спальню проникал голубоватый свет, но такой слабый, что различить позволял лишь сами оконные проемы. Темнота казалась густой и вязкой. Елена Павловна откинула одеяло, опустила ноги на мягкий коврик из рысьей шкуры, нащупала подле кровати ночные туфли. Осторожно мелкими шагами, чтобы не ушибиться обо что-либо, приблизилась к окну. От куржака, намороженного на стеклах, веяло холодом. Один угол нижней стеклины не был затянут ледяным наростом, Елена Павловна прильнула к нему, пытаясь хоть что-то различить за окном. Ветер теперь не завывал, как было с вечера, а лишь горестно всхлипывал, изредка порывами прорываясь между домом и невидимой за окном стеной каретного сарая. Не сразу, а лишь когда глаза приноровились, увидела кровлю лабаза, отстоящего от дома не далее чем на три сажени, и снежные вихри, которые беспрестанно клубились над нею. Больше — ничего, сколько ни силилась, ни напрягала зрение. Стоят ли сейчас в глубине сарая злополучные возы с контрабандным чаем? Из разговора, подслушанного ею, уяснила одно: ночью их тишком должны вывезти со двора и то ли переправить на Глазковскую сторону по льду через Ангару, то ли перепрятать в другое место.

Хотя она ничего не могла видеть, ей до яви мерещились возы с сеном, для надежности от любопытного глаза накрытые сверху мешковиной. Неудержимая отчаянная мысль овладела ею: немедля

сию же минуту удостовериться, что все это правда, или же свободно вздохнуть полной грудью, убедившись, что возов с контрабандным чаем в завозне нет, она неверно истолковала услышанное ею.

Шарясь в темноте, натыкаясь на вещи, которые сейчас не нужны, она все же отыскала свою лисью шубу и шаль, наскоро оделась.

В доме царила густая, сонная тишина. Казалось, вздумай она произнести слово, крикнуть, так ее никто не услышит — любой звук завязнет. На лестнице теплился свет ночника. В его трепетном мерцании проглядывали очертания зеркала в углу зала и два портрета на противоположной стене между оконными проемами. Лестничные ступени обозначались теневыми сгустками. Елена Павловна с опаской ступала на них, не выпускала из рук перила. Ни одна ступенька не скрипнула под ее ногами.

«Крадусь, точно воровка».

Еще не дойдя до двери в задние сени, по полу ощутила морозную тягу. Леденящие струи завевались снизу, холодя ноги. Обулась она наспех, на босу ногу.

Наружная дверь насилу подалась и захлопнулась позади нее с тугим стуком. Из-за угла дома к ней беззвучно кинулся дворовый кобель, которого на ночь спускали с цепи. Страж он был добросовестный, надежный.

— Армак, Армак,— тихонько произнесла она, предупреждая, чтобы пес не залаял, не наделал переполоху.

Армак был умен и давно усвоил, что злоумышленники не появляются из дому, напротив, от всякого выходящего из этой двери можно получить ласку и подачку. Кобель узнал хозяйку, возбужденно крутился и прыгал вокруг нее, негромко поскуливая от избытка нежности, обнюхивал ее полубосые ноги. Ветра во дворе не ощущалось, лишь над забором и крышей завозни завихривалась снежная пыль. Елена Павловна ступила под навес и, как она предполагала, увидела розвальни, нагруженные сеном и накрытые сверху дерюгой. Все охолодевшее, застуженное, ни к чему невозможно притронуться. Сразу же под сеном рука наткнулась на тюки. Через полотно пальцами нащупала нечто сыпучее, тугое. Армак не отступал от нее, ему тоже было любопытно узнать, что же спрятано под рогожей, совал свой нос под руку Елены Павловны, нюхал.

Во дворе послышались скрипучие шаги. Армак издал негромкий звук — попытку гавкнуть. Сторож Никита приближался к сараю от ворот. Он с головы до пят закутан в тулуп. Елена Павловна поскорей вышла из-под навеса, чтобы старик узнал ее и не напугался. Но Никиту трудно напугать, легче удивить.

— Барыня? Елена Павловна! — воскликнул он.— А то слышу, дверь хлобыстнула и кобель сорвался, назад не ворочается. Дай, думаю, гляну, кто там. Али не спится? Остынуть недолго,— забеспокоился он, разглядев, что хозяйка обута не подходяще.

— Что тут спрятано?— спросила Елена Павловна, указывая на дровни.

— Должно, сено,— ответил Никита.

— А под сеном?

— Меня не касаемо.

— Неужто не знаешь?

— А коли и знаю, мое дело — помалкивать.

— Так ведь это же против закона — обман!

— Без обману капиталу не нажить.

— Спасибо, Никита, утешил.

Армак проводил ее до двери. Уже войдя в прихожую, почувствовала, насколько она озябла: тело радостно приняло ласкающее тепло хорошо протопленного жилого дома. Поднимаясь по лестнице, ощутила, как ненадолго проникшая в ее жилы стужа вытекает из них. Изморозь, подернувшая пушистый воротник шубки, щекочущими каплями скатывалась по плечам и груди.

«Без обману капиталу не наживешь». Старик убежден в этом. Он ведь относил свои слова не к одному Валежину — то же самое скажет про всякого богатого. Таковы в его глазах и Трапезниковы, и Кузнецовы. Просто одни более удачливы, может быть, более смелы, решительны, менее щепетильны, другие более робки или менее удачливы, наподобие Лоскутовых, Бревновых,— им отведена второстепенная роль среди купечества. Все они, если судить строго по закону, преступники и в мнении Никиты таковыми и должны быть: без обману капиталу не наживешь. Вопрос, прав ли Никита? Не есть ли его вывод привычное для простолюдина заблуждение,

будто всякий разбогатевший, особенно если он выходец из мужиков, непременно вор и разбойник. Ведь сам-то Никита и сотни других никит, живущих своим трудом, ровным счетом ничего не нажили. В его убеждении не столько мудрая истина, сколько попытка оправдать свою неудачливость, неумение устроить жизнь. Короче — зависть. В глазах Никиты Иван Артемович своей связью с контрабандистами не только не опорочил себя, но даже приобрел уважение. Хотя шут его знает. Слуги если и говорят правду о господах, все, что они думают, так не женам же своих хозяев.

После того, как она продрогла, в тепле под одеялом ее быстро разморило.

...Пробудилась в привычное время. Первые мгновения, находясь под впечатлением ускользающего из памяти недавнего сновидения, Елена Павловна пребывала в расслабляющей безмятежности. Но вдруг все вспомнила. Весь ужас происшедшего накануне обрушился на нее. Почему, как случилось, что Ивана Артемовича завлекли, принудили сообщничать с бандитами? Мысль судорожно цеплялась за эту спасительную подсказку — хотелось верить: было именно так — мужа заставили принять контрабанду. Однако в душе не верила.

Давно, еще в первый год своего замужества Елена Павловна случайно услышала слова, в злобе сказанные про Ивана Артемовича:

— Ванька? Валежин? Да он хуже любого жида — за копейку удавится!

Тогда она чуть не бросилась на обидчика. Не приняла, не поверила. Да и как можно было поверить человеку озлобленному, обиженному, у которого Иван Артемович накануне из-под носу перехватил партию пушнины.

Муж лишь беззлобно рассмеялся, когда вечером наедине Елена Павловна рассказала ему, как о нем отозвался конкурент.

— Скупердяй он: лишнюю сотню пожалел накинуть — тысячу упустил. Теперь зубами скрипит.

Мужнино объяснение она приняла, нашла справедливым. Но и случайные слова не позабылись. После стала замечать: есть в них доля правды — жаден Иван Артемович. Ненасытно жаден! Жаден по натуре. Сам осознает эту черту в своем характере и старается не выдать себя, утаить. Поэтому и деньги на пожертвования в благотворительных целях вносит немалые, держится в одном ряду с Бревновым и Лоскутовым, выше не метит, но и ниже не опускается. Хотя Елене Павловне видно, что деньги эти он отрывает скрипя зубами. Но зубами скрипит втихомолку, тайком — не все догадываются.

И хоть ей претила эта черта мужнина характера, с нею она примирилась и даже нашла оправдание: таково поле его деятельности. Бездумная, восхитительная щедрость прежних родовитых вельмож ему не с руки. В конце концов не один он дорожит нажитым богатством — другие тоже. Со стороны его страсть не заметна: искусством обуздывать свои чувства Иван Артемович владеет.

И никогда, никогда не допускала она мысли, что из корысти он способен поступиться честью. Если бы его действительно завлекли, принудили участвовать в грязной махинации, так он бы пустил себе пулю в висок, а не изворачивался, не пытался отвлечь подозрение. Пулю в висок, хотя это и не выход для истинного христианина, она бы простила ему.

Хотела сейчас же, немедля пойти к нему в закуток. Представила, как он изумится, увидев ее на пороге, улыбкой погасит недовольство, что оторвала его от дел, любезно справится о самочувствии. И вдруг оглоушит его вопросом: «Иван Артемович, ответь без утайки, что за возы вчера с вечера стояли в завозне? Что было спрятано под сеном?»

Дальнейшего она не могла представить себе, воображение отказывало ей. А вернее, не хотелось даже мысленно видеть, как он станет изворачиваться, лгать, пытаясь обмануть ее, перевести разговор на другое, отшутиться... Гадко, мерзко!

Время шло, а ничего путнего не приходило на ум: с чего начать, что предпринять? Ясно одно — с сегодняшнего дня вся ее жизнь пойдет иначе. Прежнее спокойное, благостное течение невозможно. Непредставимо! Но день начался, и ничего не менялось, все текло заведенным порядком, и ей становилось не по себе. Хоть бы случилось что-нибудь вне-

запное, нежданное, пусть не прямо ее касающееся, например — землетрясение. Такое, как было давно, до ее рождения, о нем она только слышала. Это бы всколыхнуло, взбудоражило, наполнило жизнь ощущением божьего могущества, и тогда происшедшее с нею утратило бы значимость, сделалось ничтожным, мелким.

Ей вдруг открылась вся бессмысленность ее застойного, бесцельного существования. Живет она просто в силу привычки. Живет точно так, как живут няня Мария, Глаша, как живут и жили до них тысячи других русских баб в городах и деревнях, влача кто тяжелое, а кто легкое, безмятежное, но одинаково бессмысленное бремя повседневности.

Если бы еще вчера у нее спросили, для чего, зачем она живет, Елена Павловна, ни на миг не усомнившись, ответила бы — ради детей, чтобы вырастить их, воспитать достойными наследниками отца, гражданами своего города, отчизны, добродетельными прихожанами. Ее главная забота поддерживать в доме порядок, быть верной супругой и добродетельной матерью. Святое назначение!

Воспитать достойных наследников своего отца... Отца преступника, бесчестного человека! Разве это может быть жизненным назначением? Поддерживать порядок и мир в доме человека, которому место на каторге, среди отверженных...

Мысли спотыкались, кружили на одном месте.

Прибежала Настя, как всегда чуточку заполошная, с хитрыми рыскающими светлыми глазками, посланная Никифором узнать, не будет ли указаний от барыни. Елена Павловна машинально выслушала, передала повару, что все остается как есть, гостей сегодня не ожидается.

Потом, как заведено, явилась няня Мария с детьми. Старшему Мите недавно исполнилось шесть, Тане четыре годика, родились они в один месяц с разницей всего лишь на неделю. Елена Павловна поборола растерянность, взяла себя в руки, чтобы дети не почувствовали неладное. И без того малышка Таня взглядывала на маму внимательными и печальными глазенками. Впрочем, это вызвано другой причиной: дети от няни слышали, что маме нездоровится, и не по-детски участливая Таня обеспокоилась. Елена Павловна убеждена, что дети вообще более чутки и наблюдательны, чем полагают взрослые, подмечают малейшие оттенки настроения родителей и любой разлад переживают мучительно, болезненно. Единственно, они не всегда умеют объяснить причину происходящего в доме, но от этого их переживания не делаются слабее. Конечно, дети отходчивы, другие впечатления дня заслоняют от них вызванную тревогу, но чувства их глубоки и порой оставляют незаживающие шрамы на впечатлительной душе.

Дети чутки. Особенно Таня. Елена Павловна судит по себе, по воспоминаниям из ранней поры своего детства. Всех подробностей в ее памяти не сохранилось, помнится только острое чувство, пережитое в ту, самую ранимую пору становления души. Сейчас ее мучает сознание вины перед малолетней дочерью. Ей мнится, что девочка догадывается, осознает, что не она любимица у мамы, ей отведено второе место после брата Мити. Но, невзирая на это, своего старшего брата Таня обожает, любит нежно и пылко, как бывают способны любить только дети. И столь же сильно, но как бы более робко любит она свою маму, тянется к ней. Елена Павловна всеми силами старается не выдать своего предпочтения к первенцу, но у Тани развито подспудное чувство понимания, она улавливает тончайшие оттенки. Елене Павловне легче обмануть себя, чем крохотную Таню.

Она сама росла в такой же обстановке, рано осознав, что мать больше любит старшего брата Мишу, а к ней, к дочери, относится хорошо, ровно, бывает всегда справедливой, но не испытывает сердечного трепета, каким полнится ее чувство к старшему Мише. Елена Павловна так же хорошо помнит, что сама она никогда не завидовала брату — любила его страстно и сохранила это чувство до сих пор. Перед Мишей она всегда благоговела. Навряд ли он сознавал, что в материнском сердце ему отдано предпочтение: брат никогда не задумывался об этом — не было нужды. Задумываются обделенные, обиженные,

а не обласканные, не осыпанные щедротами нежного внимания. Сестру он любил искренне и любит сейчас и вряд ли может представить себе, что кто-то другой из близких отдавал предпочтение ему, а не ей.

Теперь все повторялось в судьбе ее собственных детей. Елена Павловна не в состоянии принудить себя любить их поровну, как муж. Иван Артемович если и уделяет больше заботы и внимания сыну, так не по причине сердечной привязанности, а из практических соображений — Мите предстоит наследовать торговое дело.

Усадив дочь на колени, Елена Павловна гладила ее кудряшки. В ранние годы у самой были точно такие же волнистые локоны. Куда потом девались? Верно, обижаться ей не на что: волосы у нее густые, пышные, только что не вьются, как в детстве, как у брата Миши даже и теперь, хоть у него они заметно поредели, даже и залысины наметились, а все равно курчавые. А от ее детских кудряшек уже к тринадцати годам не сохранилось помину. Останутся ли у Тани? Сейчас, когда Елене Павловне приходили на ум эти мысли, ее пальцы машинально перебирали нежные локоны, а взгляд был обращен на Митю, и сердце у нее разрывалось от нежности.

«Господи, ну что я могу сделать! Нельзя мне порвать с Иваном Артемовичем, если я по рукам и ногам связана любовью к Мите. К детям»,— поправилась она.

Время утреннего свидания с детьми кончилось. Старая няня Мария, беспокойно озираясь, ерзала на стуле. Судя по этому, в доме уже появилась Валентина Андреевна. Держать гувернантку Валежины не могли: не было лишней комнаты, где бы можно было ее поселить, но, чтобы дать детям необходимое воспитание, нанимали домашних учителей. Няня Мария, страстно любившая обоих малышей, столь же горячо невзлюбила приходящую учительницу. Вероятно, за ее надменность, за жеманность, за французский прононс — за все вместе.

— Ну, дети, пора вам заниматься,— сказала Елена Павловна, опуская дочь на пол и поднимаясь со стула.

Митя тотчас подбежал к ней, обхватил ручонками ее руку и пылко прильнул щекой к материнскому бедру. Искренний порыв мальчика сладостной болью отозвался во всем существе Елены Павловны. Ладонь притронулась к головке малыша, но Елена Павловна тотчас отняла руку, поймав взгляд дочери, невзначай уловившей непроизвольное движение. Каждый жест выдает ее. Девочка все подмечает, и в ее крохотном сердце накапливается незаслуженная боль.

В этакую пору Елена Павловна редко выходила из дому, уединившись у себя, читала книгу. Сегодня, вопреки обыкновению, велела Глаше подать одежду. Однако обошлась без помощи девки, отослала ее. Уж больно у той от любопытства светились глазки, хотелось ей выведать, куда снаряжается барыня глядя на мороз. Из дому вышла не через парадное, а черным ходом, каким пользовалась ночью. Хотя сейчас она была одета и обута не наспех, но мороз, показалось ей, мгновенно прошил ее одежду насквозь. Даже на крещенье не было такой стужи!

Возов, как и следовало ожидать, не стояло под навесом. Минуя калитку, машинально приметила былинки сена, зацепленные в стояке ворот: должно быть, когда возы выезжали со двора, боком шоркнуло по косяку и расщеп в дереве вырвал клок сена.

По Харлампиевской спустилась к Ангаре. Санная дорога через заторошенную реку пролегала чуть ниже. На оглаженных выступах ледяных торосов там и сям виднелись недавно упавшие клочья сена, а посреди колеи вразброс бронзовели окаменевшие конские шевяки. Следы могли быть оставлены какими угодно подводами, не обязательно теми, которые вышли из их двора. Но Елена Павловна убеждена — теми самыми. И, словно в опровержение ее мысли, увидела посреди Ангары бегущую трусцой заиндевелую лошадь, запряженную точно в такие же розвальни, какие ночью стояли во дворе под навесом. Мужик, сопровождавший подводу, шагал обочь колеи, легко и ловко сигая через торосы, несмотря на то, что на нем был тяжелый тулуп. Елена Павловна дождалась,

когда он приблизился. Усы и борода у кучера сплошь облеплены сосульками. У лошади с удил тоже свисали ледяшки, а вокруг глаз белели заиндевелые ресницы. Мужик недоуменно посмотрел на молодую барыню, зачем-то мерзнувшую на пустынном берегу. Гикнул на лошадь, дал ей взбежать на взлобок и лихо запрыгнул в сани.

Не он ли ночью уводил со двора возы с контрабандным чаем? Теперь, исполнив поручение, возвращался доложить Ивану Артемовичу. Но дровни, доехав до Луговой, свернули направо.

Елена Павловна возвратилась домой.

Все утро у нее было предчувствие, что сегодня непременно случится нечто из ряда вон выходящее. Предчувствие не обмануло. Пришла Глаша, сказала, что ее спрашивает какой-то малец.

— Говорит, записку принес.

— От кого?— поразилась она.

— Не сказывает.

— Ну так где она, записка,— нетерпеливо протянула Елена Павловна руку.

— Мне не дал. Мол, велено в руки.

Елена Павловна в раздражении направилась в переднюю. Вечно эти посыльные набиваются на чаевые. Не жалко ей медяков, но приторно смотреть на их подобострастные, вымогающие улыбки.

На верхней лестничной площадке ее дожидался подросток. Елена Павловна заметила мокрые следы, оставленные чирками. Не это, так и не обратила бы внимания, во что он обут. Чирки теплые с овчинными опушнями, поверх гачи накручены толстые суконные портянки, надежно перевязанные тонкой бечевой. В этаких обутках мороз не страшен, особенно если малый проворен на ногу. А по лицу видно — шустер, по улице летит метеором, мороз только отскакивает от его одежонки. У мальца смышленое лицо и шустрый плутоватый взгляд. Мгновенно окинул Елену Павловну глазами, удостоверился, что на сей раз вышла не прислуга, а барыня. Извлек из-за пазухи конверт.

— Велено — в руки.

С лестницы сбежал стремглав, Елена Павловна не успела отдать ему заготовленный алтын.

Адрес на конверте не обозначен. Чувства подсказывали Елене Павловне — в нем содержится нечто тревожное. Чуть не бегом прошла в свою спальню и заперлась, хотя последняя предосторожность была излишней: никто в доме, включая супруга, не смел нарушить ее уединения не упредив. Дрожащими пальцами вскрыла конверт. Еще не прочитав ни строчки, узнала почерк. Сердце дрогнуло и заколотилось. Нет, то не было прежнее чувство, некогда владевшее ею,— всего лишь напоминание о нем.

Послание было кратким:

«Долгая разлука не изгладила моих чувств, хотя, по-видимому, напрасно тревожу тебя напоминанием о прошлом. Если это так, все принимаю с полным пониманием. Ни слова упрека не услышишь от меня.

Остановился в Подворье, но с десяти утра до четырех пополудни бываю в доме мещанки Пряновой на Мясницкой улице».

Судорожно скомкала записку. Зачем? Разве возможно что-либо вернуть.

«Долгая разлука не изгладила...» С каких пор он стал выражаться этакими оборотами? Долгая разлука... А все-таки, сколько же прошло? Без малого семь лет!

Не вмешайся тогда Миша, не прояви решительности, так неизвестно, чем бы кончилось. Брат был непоколебим. Он уверен, что спас сестру. От чего только? От позора? Так чем нынешний позор — позор, который ожидает ее, лучше того, от которого ее оберег Миша?

Мясницкая улица... Где же она? Не сразу и припомнила. Давненько она не завертывала в тот околоток. Да и прежде случалось бывать мимоходом,— какие там дома, не помнит. Разве что один из них, второй от угла, с заметными издали кокошниками и резными наличниками. Не он ли принадлежит мещанке Пряновой? Что они делают в том доме? Не один же Виктор бывает там с десяти утра до четырех пополудни. Как прежде, семь лет назад, шумят, диспутируют, ищут пути спасения России, народа... Сколько было табачного чаду, сколько страсти, душевных судорог. Толком вникнуть в суть разногласий она не могла, хотя горячая атмосфера споров действовала на нее заразительно. Во всяком случае, бывая на тех шумных, бес-

толковых сборищах, она не скучала, как обыкновенно случалось с нею на увеселительных балах. Претили ей только облака табачного дыма, их не в состоянии была поглотить раскрытая форточка. То и дело появлялся самовар, случалась и водка. После чаю и водки опять споры, еще горячее, одержимей. Поразительно, что все это хоть ненадолго могло увлечь ее? Теперь, став совладелицей приличного капитала, многое из того, что азартно предлагалось кой-кем из спорящих, она может совершить. И немало уже сделала. Верно, одобрения Виктора и его единоверцев ее благие дела не заслужили бы — вызвали только насмешку. Она помогла отдельным людям, попавшим в беду, а их интересовала судьба всего человечества. Помочь всем она, разумеется, не в силах, даже если пожертвует все и сама пойдет по миру. Пусть иронизируют. Ей сейчас столь же нелепыми и смешными рисуются их благие намерения осчастливить сразу всех. На средства, пожертвованные ею, скольких сирот уже одели, спасли от голода, дали возможность получить хоть какое-то образование... Сестры Смелковы, в судьбе которых она приняла участие, так даже поступили в гимназию. Без ее поддержки они сейчас побирались бы христа ради или, того хуже, ступили на путь разврата.

Так или иначе теперь происходят их полутайные сходки, она может только предполагать, но рисуется ей все то же: клубы табачного дыма, нелепое фантазирование, споры до хрипоты... Сделанные ею взносы в благотворительное общество они грубо нарекли бы подачками. Всякого благотворителя готовы просмеять и возненавидеть. Более всего они и были заражены ненавистью. Любовь,— собственно, этого слова они не употребляли, полагая, что само стремление осчастливить человечество и есть любовь к нему,— была только во фразах, а ненависть сквозила во всем: в злобности улыбок, яростном сверкании глаз, в готовности распять всякого, кого зачисляли во враждебный лагерь, и даже просто не согласного с ними, думающего иначе. Елена Павловна ничего этого не осознавала, подпала под их влияние, пребывала в угаре, захлестнувшем ее разум. Предложи ей в ту пору взять пистолет и пойти убить кого-то, скажем полицмейстера, сказав, что это необходимо для общего блага, она с восторгом пошла и убила бы. Не просто убила, а именно с восторгом самопожертвования. Ей казалось: нельзя жить и терпеть дальше — необходимо действовать. Возможность собственной гибели не страшила ее, а вдохновляла.

Возможно, она и совершила бы тогда какой-либо безрассудный, губительный для себя поступок, не вмешайся Миша. Своей жизнью она не дорожила, но пренебречь судьбой брата, погубить и его тоже было свыше ее сил. Она даже искренне жалела, что у нее есть брат, есть другие родственники, которым ее поступок обойдется дорого. Вот если бы у нее не было близких...

Брат ошибался только в одном: он полагал, что виной всему ее увлечение Виктором, а никакого увлечения не было, Виктор Пригодин имел для нее совсем другое значение: ей хотелось действовать, а приобщить к полезному, нужному делу — так она думала тогда — ее мог только Виктор. Другого пути она не видела, не представляла.

Миша спас, раскрыл ей глаза — пришло отрезвление. И маятник качнулся в противоположную сторону. Поспешный брак с Иваном Артемовичем был протестом против своего недавнего увлечения. Возможно, была и любовь, трудно сейчас судить. Елена Павловна тогда находилась точно в бреду. Нет, Миша трижды заблуждался, полагая, что он спасает сестру от возможной связи с Виктором Пригодиным. Не было у нее к Виктору того чувства, которое можно назвать любовью. Виктор был ее поводырем, указывал ей дорогу. В какой-то мере она была благодарна ему за это и по ошибке принимала свое чувство за любовь. Но она уже и тогда вскоре поняла, что любви не было. Чувство, которое ее влекло к Ивану Артемовичу, своему будущему супругу, скорей, можно было назвать любовью.

...Вдруг ей почудился Мишин голос. Только что вспоминала о нем и — вот он. О чем-то спросил, что-то ему ответила горничная, после этого раздались ее скорые шаги. Никак вниз побежала, в буфет, должно быть, Миша велел подать ему чаю.

Внимательно глянула на себя в зеркало: по ее лицу брат не должен догадаться, что она расстроена. Начнет расспрашивать, выпытывать, ей придется отмалчиваться и отнекиваться, заверять Мишу, что он ошибся, причин для беспокойства нет. А что еще может она сказать ему? Прежде необходимо решить самой, что делать.

Прибрала волосы, заставила себя улыбнуться и с этой деланной улыбкой вышла. В столовой Миши не было. Спросила у Глаши:

— Где брат? Я слышала его голос.

— Михаил Павлович там, — указала горничная на фиктивный кабинет мужа.

Миша сидел за обширным пустым столом Ивана Артемовича и с сосредоточенным видом раскладывал пасьянс. У него с детства пристрастие к этому бестолковому занятию. Разбросанные карты занимали одну половину стола, на другой стоял штоф, опорожненная рюмка и деревянная миска с квашеной капустой. От неуместности этих предметов на письменном столе Елену Павловну покоробило. Расположился будто в трактире. Такого он еще никогда не позволял себе. Молча, одним лишь движением бровей выразила свое недоумение.

— Прости, Лена, я тут, кажется, того...

Стремительно. с сияющим лицом вошла Глаша и застыла на пороге сконфуженная — —не рассчитывала застать хозяйку. В руках у нее миска с солеными огурцами и ветчиной, отрезанной толстым ломтем. Поверх ветчины краюха хлеба. Елена Павловна, не оборачивая головы, видела девку в зеркале. Миша подал горничной неприметный знак — Глаша удалилась на цыпочках вздапятки. Все трое, не сговариваясь, разыграли невинную пантомиму.

Даже горничная и та осознает непристойность происходящего, отлично понимает — рабочий кабинет не место, где подают выпить и закусить. А тем не менее расшибется в лепешку, исполнит любую Мишину просьбу. Почему-то вся домашняя прислуга Валежиных, исключая разве повара Никифора, обожает Мишу. Елене Павловне братовы отношения с прислугой претят: чересчур он попростецки держится с ними, проявляет то, что теперь стали называть демократичностью. Беда лишь в том, что Михаил Павлович искренен, а не играет в демократию, как большинство. Елена Павловна скорей бы простила ему игру.

— Если уж тебе приспело с утра, мог расположиться в столовой.

Укоризненно глядела на миску с капустой, которую брат, похоже, брал руками — вилки на столе не видно.

— Кабинет все равно пустует — одни декорации,— рукой обвел он вокруг.

Елену Павловну всегда раздражало небрежение брата к ее стараниям создать видимость приличного кабинета для Ивана Артемовича. Не вспылила лишь потому, что вдруг вспомнила все происшедшее накануне.

Миша по лицу угадал ее состояние.

— Прости, Лена, виноват. Каюсь,— горькая болезненная усмешка непроизвольно искривила его губы.— Кажется... я убил человека.

Этого только недоставало! Елена Павловна схватилась за сердце, с ужасом уставилась на руки брата, которыми он щепотью взял из миски капусту.

— Нет! Ты неверно меня поняла. Мои руки не обагрены кровью. Но ведь нет разницы, чьими руками совершить убийство. По чьей вине — вот главное! Иначе черт знает куда можно зайти. Тот, кто позволяет убивать, тоже — убийца. Что с тобой, Лена? На тебе нет лица.

— Как ты можешь рассуждать? Философствовать!

«Господи, что это со мной?»— мелькнуло в уме, но остановиться она уже не могла: слова, не повинуясь ей, слетали с языка, и она сама с изумлением, будто со стороны, слушала их.

— Это возмутительно! Ты никогда не уважал Ивана Артемовича, но ты своим поведением оскорбляешь не только его — топчешь меня и моих детей! Не делай таких глаз! Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. В доме моего мужа ты ведешь себя, как в захудалом трактире.

«Это какое-то сумасшествие. Что я плету?»

Гнев, исподволь накопившийся в ней со вчерашнего вечера, клокотал, мутил рассудок, свою злость она обрушила на голову брата. Если бы подвернулся кто другой, досталось ему.

Давнишняя, по-детски обидчивая

улыбка тронула Мишины губы. Он поднялся на ноги.

— Ты не в себе. Я зайду после.

Уже готовая разрыдаться, не удержалась, крикнула вслед:

— Можешь совсем не приходить!

Слышала, как брат одевался, что-то сказал горничной, и его шаги удалились, затихли на ступенях парадной лестницы. Лишь после этого сорвалась с места.

— Миша!

Но внизу уже хлопнула дверь, брат не услышал ее.

— Глаша, верни его!

Девка в растерянности изумленно глядела на нее.

— Не стой — беги!

Горничная с непостижимой быстротой бросилась вниз по лестнице, ноги ее стремительно отсчитывали деревянные ступени. Несколько минут протекли в ожидании. Потом из сеней донеслись голоса: оживленный, быстро тараторивший — Глашин и ровный, бесстрастный — Мишин. Брат явно не был расположен поддерживать разговор с прислугой. Вразнобой стучали шаги по ступеням: частые и легкие — Глашины, редкие, тяжелые — Мишины.

Елена Павловна кинулась навстречу брату безотчетно, как бывало в детстве, головой уткнулась в его плечо и разрыдалась.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Михаилу Павловичу было из-за чего расстроиться. Накануне подле деревни Кузьмихи полицейский наряд, высланный им, задержал двоих злоумышленников с контрабандным чаем. С виду у них был вполне безобидный воз. Он и не вызвал бы подозрения у стражников, если бы не поведение сопровождавших дровни; очень они беспокойно вели себя, то и дело озирались, то отставали, то опережали буланую лошаденку, понуро бредущую по санному проселку. Когда трое верховых с гиканьем выскочили из засады и, пришпоривая коней, пустились наперерез, один из мужиков кинулся бежать. Вскоре он, верно, опамятовался: где ему было пешему скрыться от верховых посреди чистого поля.

Задержанные клялись и божились, что никакого отношения к возу сена и тем паче к тому, что спрятано в сене, не имеют. Они возвращались из деревни Грудинино, куда наведывались по своим делам — сватали невесту. На полпути присели на коряжину передохнуть, и вот тут их настигла подвода, которую будто бы сопровождал неизвестный им человек. Поскольку сидели они тихо, вроде как притаясь, возчик, завидя их, перепугался, припустил наутек. Лошадь с возом бросил на произвол. Они покликали беглеца, тот не отозвался. Старый мерин, тащивший сани, продолжал идти дальше, как ни в чем не бывало — дорогу знал. Они посчитали, что беглец вскоре одумается и вернется. Так и шли за чужим возом да посматривали, не видать ли позади хозяина.

— Сам зачем побежал? — допытывались у оробевшего невзрачного мужичонки.

— Так напужался. Вы налетели с гвалтом, как татары, — сердце в пятки провалилось.

Мужиков вместе с возом, с контрабандным чаем препроводили в полицейскую часть. Михаил Павлович Требесов, помощник пристава, сделал вид, будто поверил задержанным, они перехитрили его. Ему, разумеется, не составило бы труда изобличить мошенников, запутать их, уличить во лжи — их рассказ был шит белыми нитками, сочинен наспех. Михаил Павлович прикинулся простачком — у него это получилось отменно, — сказал, что он и рад бы отпустить их с богом, но сделать этого не может: требуется составить протокол, соблюсти прочие формальности. Вот если бы у них имелись документы или они назвали человека, живущего поблизости от полицейской части, который мог поручиться за них, так он тут же бы и отпустил их. Документов у них, конечно, не было, назвать поручителя они не могли, стало быть, ночь им предстояло коротать в каталажке на лавке. Завтра с утра, как только наведут справки, установят, кто

они есть, так их сразу же и отпустят. Тот, что был постарше, невзрачный, трусоватый мужичонка,— это он, завидя стражников, с перепугу рванул наутек — верил каждому слову помощника пристава. К нему Михаил Павлович и обращался. Второй, хотя и моложе напарника, не был простаком — малый себе на уме. Ни в коем случае не оставлять их на ночь вместе: пусть каждый помучается, погадает о своей участи в одиночку. Чутье подсказывало Михаилу Павловичу: на сей раз попались нужные люди. По крайней мере, один из них.

Сами по себе задержанные интереса не представляли. Упеки их обоих за решетку, контрабанда будет процветать попрежнему. Те, кто правит контрабандой, завербуют десятки новых подручных. Выловн их, на смену придут другие. Нужно не ветки отсекать, а рубить в комле. Эти двое наверняка связаны с крупной шайкой. На нее и попытаться выйти через их посредство. Пригодным для задуманного дела Михаилу Павловичу представлялся трусоватый мужичонка. С виду ему лет тридцать, возможно, чуть больше. Невзрачная жиденькая бороденка, прыщеватое лицо, маленькие шмыгающие глазки, бесцветные брови и ресницы — сто раз увидишь в толпе, не запомнишь, не обратишь на него внимания. Волосы на голове всклочены — нарочно этак не сделаешь. Отвечая, смотрит не в лицо, а на мундир Михаила Павловича — мундир приводит его в трепет. На него немного поднажать, припугнуть — он выложит все, что знает. Да вот беда, немногое знает. В лучшем случае назовет еще двоих-троих таких же, как сам, пешек, скажет адрес, куда переправляли контрабандный чай. Так разве ж у них один притон? Скольких уже выловили, сколько изъяли контрабандного товару, а какой прок? Злоумышленники плодятся, а не убывают. Необходимо ударить по заправилам, через чьи руки сбывается контрабанда. А их так просто не изловишь — скользкие, как вьюны. Нужно ловить за руку с поличным, чтобы не отвертелся.

Для такого дела непременно нужен доноситель, который вовремя уведомит, по какой дороге прибудет очередная партия товару, куда назначена. Трусоватый мужичонка годился. Верно, мороки с ним будет немало. Завербовать его в доносители не сложно. Только провернуть операцию требуется осторожно, чтобы напарник ничего не заподозрил. Иначе завербованного прикончат свои же. А молодой парень, похоже, орешек крепкий, его на мякине не проведешь. Кожаной портупеей и блестящими пуговицами на кителе не запугаешь. Разговаривая, он тоже отводит глаза в сторону, но если захочет, так выдержит чей угодно взгляд, хоть самого полицмейстера. Задача не в том, как обработать старшего из контрабандистов, а в том, как провести молодого, чтобы тот ничего не заподозрил.

Михаил Павлович решил продержать обоих бедолаг до утра, разведя их порознь. Поручил околоточному надзирателю Мирошину провести с ними предварительную беседу, обоих застращать одинаковыми угрозами.

— Только без рукоприкладства! — строго наказал он.

Михаил Павлович был принципиальным противником мордобоя в обращении даже с самыми отъявленными злодеями. А в задуманном предприятии требовалась особая деликатность. Он из опыта знал, что на впечатлительного человека угроза действует много сильней, чем ее исполнение. Побои воспринимаются уже как само наказание и лишь облегчают ожидание кары. Нужно, чтобы эти двое помучились. К утру тот, которого он наметил в доносители, созреет. Предстоит долгий разговор: нужно будет объяснить, о чем он должен сообщать, что разведать, через кого и как передавать необходимые сведения. Малый не больно сметлив, скорее, туповат, поэтому наставление займет много времени. Еще ведь нужно будет втолковать сему, что он должен говорить своему сообщнику, чтобы тот не заподозрил неладное, внушить, насколько ему важно соблюдать осторожность, остерегаться своих: они для него станут опасней полицейских.

И уже после этого повести разговор со вторым, столь же продолжительный. На этого следовало произвести впечатление человека недалекого, действующего не умом и хитростью, а прямолинейно, нахрапом — долдонить одно по одному, разыгрывать дурачка, который пытается выведать сведения, которых задержан-

ный, если бы и захотел, не мог ему сообщить, поскольку не знает.

К подобным уловкам Михаил Павлович еще недавно не был способен. Он верил, что все люди изначально, от природы или по божьему соизволению, не суть важно, наделены одним непременным свойством — испытывать стыд. Если и кажется, что кто-то лишен этой способности, так это заблуждение: на самом деле потеря стыда — результат дурного окружения и воспитания. Если такой человек попадет в иную обстановку, в благодатную среду, заложенное в нем доброе начало пробудит совесть, понятия честь, долг, благородство откроются ему, выпрямят душу. Однако общение с преступным миром, а равно и кланом людей, карающих преступления, поддерживающих правопорядок, сильно пошатнуло эти наивные убеждения. Теперь он больше склонялся к противоположному мнению: есть люди — их немало — от рождения не ведающие стыда. Если они и соблюдают принятые нормы поведения, то поступают так не из душевной потребности, а подчиняясь общепринятым нормам. Иной проживет до старости, слывя праведником, но единственное, что его удерживало от преступления, был страх, а вовсе не голос совести. Люди, наделенные, точнее, обремененные совестью, во все времена составляли меньшинство. Но именно они и были хранителями могущества наций и государств. Без них не было ни великих народов, ни истории, ни науки, ни искусств, как не бывает ничего этого у скотов, способных вести лишь жизнь беззаботную, состоящую в одном удовлетворении своих желаний. А их желания диктуют потребности плоти. Позывы духа скотам неведомы.

Насколько верна его мысль — сам Михаил Павлович убежден в своей правоте,— настолько неизбежен вывод: ныне прошло время накопителей духовных богатств — грядут времена расточителей, ибо людей совестливых и сильных духом становится все меньше. А пожиратели, не ведающие срама, плодятся подобно тараканам. И, как тараканы, вольготней чувствующие себя в доме, где хозяева нечистоплотны и ленивы, бессовестные, бесчестные люди блаженствуют в обществе, в котором порушены нравственные установления, где воры и мошенники благополучно здравствуют, никем не осуждаемые и не презираемые. Суровые законы против них бессильны, поскольку законы оказываются в их же руках. Нужны не суровые законы, а строгие нравы. Напротив, потребность в безжалостных карающих мерах отчетливее всего свидетельствует о гнилости народов и государств, к ним прибегающих.

Столь мрачные мысли давно сложились в уме Михаила Павловича — думал он об этом постоянно. Он считал, что исправить положение способны только люди, наделенные необычайной нравственной стойкостью, твердые и непоколебимые, способные к самопожертвованию. Только они могут стать пророками, обличать мерзости, называть пороки своими именами и указывать путь очищения. Он с горечью сознавал, что сам не рожден пророком, способен быть лишь стражем законности. Законы хоть и не излечивают больное общество, но препятствуют его окончательному растлению. Пророки придут! Они приходили во все времена, когда в них появлялась нужда: так было в древнем Вавилоне, так было в час краха Римской империи...

Сам он, в меру своих сил, будет служить на своем скромном посту. Пророками не становятся — пророками рождаются! Он не из их племени.

Ночью он на десять рядов обдумал, как ему вести себя. Сложней всего одурачить молодого парня: нужно будет разыграть простачка солдафона, да так, чтобы у того не закралось и тени подозрения.

Утренний мороз бодрил и прояснял мысли. Подходя к конторе, он чувствовал себя способным довершить задуманное без огрехов.

Увы, все пошло насмарку. Мирошин переусердствовал. Переусердствовал из добрых побуждений. Отчасти в случившемся виноват сам Михаил Павлович. Не следовало посвящать околоточного надзирателя в свои планы, а он обмолвился, что хочет завербовать осведомителя. И уж коли так вышло, что проговорился, так следовало посвятить Мирошина — раскрыть ему замысел до конца.

Околоточный самолично принялся обрабатывать задержанных, поочередно предлагая им сотрудничать с полицией.

В два счета добился согласия замухрышечного мужичонки, на которого и метил помощник пристава.

Утром, младенчески гордый собой, победоносно сияя улыбкой, Мирошин известил своего начальника, что дело исполнено, осведомитель заполучен.

— Болван!— не сдержался, вспылил Михаил Павлович.

— Что?— опешил околоточный надзиратель.

— Вы — болван!

Михаил Павлович был готов избить Мирошина. Сгоряча сам совершил непростительную глупость, распорядился отпустить обоих задержанных. Злость и досада завладели им настолько, что он не в состоянии был обдумывать свои поступки. Чтобы невзначай не пустить в ход кулаки — руки у него просто чесались,— вышел на улицу охладиться. Подумал: хорошо бы хватануть чего-нибудь горячительного. Направился к дому сестры. Не в кабак же было идти ему.

Морозный воздух охладил его, возвратилась ясность мысли. Какую же чудовищную глупость совершил он сам, отпустив контрабандистов! Недотепа Мирошин не только сорвал тщательно задуманную акцию, но еще и поставил под топор чужую голову. Правда, не ахти какую ценную — голову труса. Михаил Павлович не дал бы сейчас и ломаного гроша за сохранность жизни завербованного Мирошиным. Бежать, скрыться от своих сообщников у того не хватит ни ума, ни ловкости. А пощады ему не будет. Свои не щадят.

Но ведь в этой смерти будет повинен не один Мирошин. С него какой спрос? Мальчишка! Опыта еще не имеет. Сам он, помощник пристава, и виноват.

В этом тягостном настроении он и появился в доме сестры. Прислуга ему благоволила, любое его желание исполнялось быстро и с охотой, усердствовали не напоказ, а из чувства расположения.

Он не был любителем горячительных напитков, но тут был особый случай, и Михаил Павлович распорядился подать водки. Выпил, не дождавшись, когда Глаша принесет закусить. Хотелось скорей одурманить мозг, оглоушить себя, чтобы не терзаться покаянными мыслями. Водка огненным жгутом прокатилась в утробу, но одурманивающее действие еще не сказалось, голова оставалась ясной — лишь опалило внутренности. В этот момент и нагрянула Лена.

Обида захлестнула его. Лишь выскочив на улицу, он одумался: ведь и у сестры произошло что-то неладное. Не из-за того же она вспылила, что он осквернил бутафорный кабинет ее супруга.

Он не отошел далеко, когда услышал Глашу, окликающую его. Девка выбежала из дому голоушей, мороз остервенело набросился на нее, она не успевала оттирать нос, щеки, уши; прихватывало так же и кончики пальцев, и она пыталась согреть их, дыша на них изо рта.

— Они не в себе, приказали воротить вас,— сквозь морозную одышку выговорила она.

Михаил Павлович, ни о чем не расспрашивая горничную, повернул назад. Глаша, пританцовывая на бегу и продолжая отмахиваться от жгучих укусов стужи, едва поспевала за ним.

— Лена, ради бога, что с тобой?— выпытывал он у сестры, когда, вволю наплакавшись, она понемногу приходила в себя.

Они уединились в том же пустом кабинете. Глаша не решалась при них войти, убрать со стола графин с водкой и ненужную теперь посуду. Все это вперемешку с разложенными картами оставалось на столе.

Рыдания больше не сотрясали Елену Павловну, тихо бегущие слезы она вытирала трясущейся рукой.

— Это пройдет. Ты не волнуйся. Не понимаю, что со мной,— бормотала она, избегая встречаться с его взглядом.

Он кликнул Глашу, велел подать горячего чаю.

— Чай успокаивает,— сказал он, не вспомнив точно, от кого он слышал это.

— Только не чаю!— энергично воспротивилась Елена Павловна.— Скажи Никифору, пусть приготовит кофею.

— Кофею так кофею,— уступил он.

Пить кофе перешли в столовую.

— Кого ты убил, Миша?— глядя на него влюбленными глазами, болезненно улыбнулась она.— Разве ты можешь убить!

Полагая, что ее припадок вызвали его давешние неосторожные слова, которые она поняла буквально, он поспешил успокоить сестру, рассказал ей, что произошло на самом деле.

— Навряд ли и кровь прольется, мне это сгоряча вообразилось.

Его рассказ пробудил у Елены Павловны неожиданный интерес.

— Чай прятали под сеном!— воскликнула она.

— Не хитрая, но самая распространенная уловка,— объяснил он.— У таможенников нет возможности выслать наряды на все дороги, досматривать каждый обоз, каждую подводу. Контрабанду везут и по правой стороне через Оёк, через Ключи, и по левой — через Кузьмиху, Смоленщину: контрабандистам пути не заказны.

— Ну а после... Куда они девают чай?

— Разными способами: либо, миновав Иркутскую таможню, везут дальше в Россию, либо сбывают местным лавочникам. Те распродают в розницу. Ко всякому не приставишь следить из опломбированного ящика вешает он или из приобретенного нечестно. Бывает, ловим, изымаем — несут убытки. Однако неймется: уж больно заманчив легкий барыш на контрабанде.

— Так разве ж их не в тюрьму, не на каторгу?

Михаил Павлович улыбнулся. В глазах у сестры было недоумение, такое же точно, как в давние наивные годы, когда она верила, что в жизни всегда торжествует справедливость.

— Скользкий народец торговцы. Никак его под жабры не ухватишь — налимом выскользнет. Если бы все было так просто, как думалось в детстве... Увы! Остается уповать, что там,— большим пальцем он указал на потолок,— все зачтется. Мне, однако, пора.

Пристально глянул в лицо сестре, хотел убедиться, что успокоил ее, она не будет больше тревожиться за него понапрасну.

Уже выйдя на улицу, вспомнил ее прощальную улыбку — была в ней какая-то надломленность.

«А ведь ее тревожит еще что-то. Непременно зайду вечером. Нужно поговорить с ней начистоту».

Подлинную, как ему показалось, причину душевного расстройства сестры Михаил Павлович выведал нежданно. Подходя к зданию полицейской части, он увидал Мирошина, идущего наперерез. Шинель строго и ладно облегала юношескую фигуру. Снег под сапогами околоточного скрипел с особенной яростью, подчеркивая силу и устремленность его походки.

«Старательный, исполнительный малый. Напрасно я его обидел»,— подумал Михаил Павлович.

Мирошин поднял голову и увидал помощника пристава. Даже морозный румянец на его щеках притушился выступившей внезапно бледностью.

Сейчас Михаил Павлович корил себя за недавнюю вспышку. Он хорошо понимал состояние Мирошина, вынужденного подавлять свои чувства. Движимый раскаянием, окликнул надзирателя. Мирошин, подойдя к нему, машинально сделал под козырек. Сухой взгляд был нацелен в пространство поверх головы Михаила Павловича,

— Полно, голубчик, не гневайтесь на меня,— сам поражаясь мягкости своего голоса, проговорил Михаил Павлович.— Я был несправедлив и, поверьте, искренне сожалею. Ради бога, простите мне мою несдержанность.

Взгляд Мирошина с необычайной живостью пробежал по лицу помощника пристава. Неожиданный оборот произвел на него сильное впечатление: потребовалось немедленно удостовериться в искренности произнесенных слов. По-видимому, доброжелательная, мягкая улыбка Михаила Павловича подействовала на него убедительней слов: он весь радостно вспыхнул, в темной синеве глаз блеснули слезинки.

«Мальчик не лишен чувствительности»,— подумал Михаил Павлович, довольный своим поступком. Немного чести обидеть подчиненного тебе человека, но повиниться перед ним в совершенной бестактности требуются мужество и твердость характера.

— Да, да, Мирошин, забудьте обидные слова, вы их не заслужили.

Околоточный, должно быть, опасаясь, как бы у него и впрямь в порыве чувствительности не брызнули слезы, поспешил отвернуться, сделал вид, будто ему

необходимо высморкаться, извлек из шинели платок и на мгновение закрылся от чужих глаз.

Нельзя было далее мучить его своим благородством.

— Вы, кажется, устроились в нумере?— спросил Михаил Павлович.

— На подворье, в нумере,— с готовностью ответил Мирошин: перемена предмета разговора облегчила его положение. Хотя его глаза все еще оставались чуть влажными, теперь он мог уже не опасаться, что из них брызнут непрошеные слезы.— В соседнем нумере поселился весьма подозрительный субъект: присматриваюсь к нему и никак не могу сообразить, что он собой представляет.

— Чем же он подозрителен?— не из любопытства, а только лишь поддерживая беседу, поинтересовался Михаил Павлович.

Они уже почти приблизились к входу в полицейскую часть.

— Уверяет, что выслан из Петербурга за участие в беспорядках, живет под жандармским надзором.

— Он что же сам об этом распространялся?— на сей раз в самом деле удивился Михаил Павлович.

— В этом и загвоздка,— улыбнулся околоточный.

— Знавал я одного,— с неохотою припомнил Михаил Павлович.— Тот субъект мог на себя и не такое наговорить из желания произвести впечатление. Так кто его заметит, а назвавшись политическим — он персона. Есть много доверчивых простаков, на которых это действует.

— Вы думаете я ему поверил?— легкая обидчивость прозвучала в голосе надзирателя.

— Я не вас имел в виду,— успокоил его Михаил Павлович.— Наших любезных обывателей. Был тут некто Виктор Семенович Пригодин...

— Так и этого Виктором Семеновичем Пригодиным звать!— воскликнул Мирошин.

Что и говорить, неприятная новость. Опять его нелегкая занесла в Иркутск. Неужто сестра расстроилась из-за этого вертопраха? Вот к кому Михаил Павлович не испытывал ни сочувствия, ни жалости. Будь его воля, так не моргнув глазом спровадил куда подальше — в рудник его на цепь приковать, чтобы и свету белого не видел. Самые отъявленные преступники, изверги, замышляющие цареубийство, не вызывали у него столько неприязни. Пригодины хуже цареубийц! Среди тех попадали совестливые люди, сбитые с толку, подпавшие под злое влияние, искренне полагающие, что действуют на пользу, история будет благодарна им. А Пригодин, сам ни к чему не способный, тем только и занимается, что совращает молодые неискушенные умы, жаждет прослыть борцом за справедливость, но только не рядовым, а непременно главою движения. Славы он жаждет, а вовсе не ищет дела, где бы мог принести пользу. С работой простого письмоводителя не справился — вытурили. Где уж такому возглавить движение.

Эти ядовитые мысли приходили Михаилу Павловичу, когда он в сопровождении двоих нижних чинов ехал через Ангару.

С низовий гнало поземку, меж торосами змеились белые струи. Плотные снежные наметы продольными горбами пересекали колею. Низовик был не сильным, но жгучим. Михаил Павлович невольно отворачивал лицо, оберегая щеки и нос от нахлестов ветра. Под копытами норовистого серого жеребчика по кличке Леший гулко отзывалась подледная пустота, которая всегда возникала на исходе зимы. Полицейские следовали чуть приотстав от него. Старый чалый мерин то и дело подскальзывался, бренчала подкова, плохо державшаяся на изношенном копыте.

— Сухарев,— не оборачивая головы, сказал Михаил Павлович.— Чалку перековать надо — подкову потеряет.

— Слушаюсь, вашброды,— донеслось невнятное бормотание: видно, Сухарев произносил слова сквозь варежку, которой прикрывался от леденящего ветра.

Поднялись в гору на окраину Глазковского предместья. Немного проку ожидал Михаил Павлович от своего наезда: бесспорно, что адрес, названный контрабандистами, липовый, но ничего другого не оставалось, это была единственная зацепка. Побывать в доме крестьянки Спиридоновой, расспросить жильцов, известны ли им некие Иван Артемов и Артем

Иванов. Уже само то, что задержанные назвались сходными именами, вызывало недоверие. Михаил Павлович в который раз казнился: не нужно было отпускать мужиков. Установить их настоящие имена рано или поздно удалось бы. Надо было удержать хотя бы эту ниточку.

И еще все время из ума не выходило, почему в своих наспех придуманных именах контрабандисты использовали имя и отчество зятя Михаила Павловича? Случайность это или же им известны его родственные связи? Очень сомнительно. А если случайность, то настораживающая случайность. Скорей уж, им было назваться Иваном Петровым и Петром Ивановым.

Он в который раз припоминал, как это происходило.

— Чей будешь?— допытывался Мирошин у перетрусившего жидкобородого мужичонки.— Имя, фамилия?

— Так это самое,— бормотал тот, поглядывая на своего напарника, точно и впрямь запамятовал собственное имя, и вдруг выпалил:— Иван Артемов.

Молодой зыркнул на него и, не дожидаясь вопроса, поспешил назвать себя:

— Артем Иванов буду.

Михаил Павлович и тогда ни на миг не поверил плутам, но и не придал значения их быстрому переглядыванию. А переглядывались неспроста. То, что жидкобородый назвался Иваном Артемовым, было промашкой. Иначе чем еще объяснить, что молодой, — а главенствовал явно он,— вдруг этак озлобился на своего компаньона: тот весь передернулся и как бы скукожился. Нечистое дело. Несложно было уличить их во лжи. Стоило только допросить поодиночке, не дать им сообщаться друг с другом. Но Михаил Павлович был занят другой идеей.

Дом крестьянки Спиридоновой, названный местом проживания жидкобородого, на самой окраине. Улочка здесь была однорядовой, дома стояли по одну руку, по другую вплоть подступал сосновый лес. Санная колея, сейчас наполовину зализанная поземкой, отделяла заплоты от лесной опушки. Ближние дворы, сколько ему видно из седла, пустынны, нигде ни души. Там и сям из трубы шел дым, который то поднимался столбом, то разрывался на клочья ветром. Печной дым указывал, что окраина не вымерла, что за бревенчатыми стенами домов течет повседневная жизнь.

Отсюда с горы хорошо открывалась взгляду правая сторона Ангары. Просквоженные ветром городские улицы стыли под зимним солнцем. Сверкали десятки церковных куполов, их почти все можно было пересчитать, начиная от храма Знаменского монастыря до Крестовской церкви. Слева, близ берега, в тесном окружении нескольких белоглавых церквей возвышался громадный Тихвинский собор. Меж храмами, казалось, в беспорядке грудились деревянные дома и средь них вразброску каменные особняки. Заснеженные кровли золотились в лучах полуденного солнца, которое хотя и скупо грело город, зато светило щедро, слепяще. Лесистые сопки вольным полукружием охватили пойменную излучину, где разместился центр Иркутска. Михаилу Павловичу неожиданно подумалось, что в прошлом веке лес еще теснее обступал небольшой город, там, где сейчас пролегли улицы, где живет его сестра, и там, где находится полицейская часть, был лес, вместо церковных маковок, увенчанных крестами, в сизое зимнее небо вонзались островерхие ели и осыпанные куржаком нагие лиственницы.

Спешились возле крайней избы. Михаил Павлович отдал поводья Сухареву, другому солдату велел идти с ним. Кудлатая дворняжка издали облаяла их, не отваживаясь на более решительные действия. Позади Сухарев увещевал непокладистого жеребца:

— Идол ты непутевый, не спортит он ее, али не видишь: мерин. Все тебе, Лешему, достанется.

Буланая кобылица и чалый мерин содержались в общей казарменной конюшне, их стойла находились рядом, и между ними давно установились приятельские отношения. Бестолковый жеребец Михаила Павловича, живший в отдельном сарае, не хотел признавать сантиментов, установленных между кобылой и мерином, злобно оскаливал зубы, норовил цапнуть смиренного Чалку, предостерегая, чтобы тот подальше держался от Буланки.

В окошке сквозь изморозь неразличимо мелькнуло чье-то лицо: обитатели дома любопытствовали, кто к ним пожаловал. Только полицейские ступили на

крыльцо, дверь в избу предупредительно распахнулась. Хозяин, лупоглазый рыжебородый здоровяк в заношенной поддевке, кланялся и что-то невнятно бормотал. Нечасто здесь появляются люди в мундирах полицейских, нежданный визит задал переполоху. Делать в чужом доме им нечего. Михаил Павлович не стал заходить.

— Скажи-ка, любезный,— обратился он к вышедшему мужику,— где тут дом Спиридоновой?

Услышав вопрос, хозяин обрадовался:

— Зараз провожу. Фенька, кинь мне шапку! — крикнул он в избу.

Все же удивительный народец наши простолюдины: даже если ему и нечего бояться, никаких провинностей за душой у него нет, он при одном виде форменного мундира трепещет. Клятвенно заверь его, что невиновного перед законом не дадут в обиду, полиция же его и защитит — он только усмехнется. Убежден: коли у тебя сила и власть, так обязательно и неправая. Верно, оснований к подобному заключению предостаточно, сами же полицейские и дают повод так думать. Беззакония, чинимые охранителями власти и порядка, более всего способствуют разложению нравов. Хочешь расплодить воров и разбойников, так действуй не по справедливости, а по произволу. Если тюрьмы и каторга переполнены, так это в первую очередь свидетельствует о безнравственности чиновников, которым поручено соблюдение законов — они расплодили преступность.

Несбыточная мечта Михаила Павловича — навести порядок, пресечь злоупотребления чиновников. Тогда и полиция не нужна будет: воров и контрабандистов помогут извести всем миром. Увы — утопия. Ну, да ведь всякий идеал, созданный в уме и воображении, тоже утопия, однако же стремиться к идеалу нужно. Иначе жизнь станет бессмысленной.

От провожатого Михаил Павлович отказался: дом, который искали, видно было с крыльца.

— Вона,— толстым тупым пальцем указывал мужик.— Печь топится, окошко вполовину досками зашито.

Дом Спиридоновой стоял на отшибе. От соседнего его отделял пустырь, посреди которого из сумета торчали обугленные столбы и печная труба. Недавно на этом месте тоже была усадьба, по-видимому, сгоревшая.

«Самое подходящее место для воровского притона»,— подумал поначалу Михаил Павлович, но вскоре отверг такое предположение; все постройки во дворе Спиридоновой пребывали в запустении: амбарная крыша порушилась и просела, из стен завозни напрочь выдрана половина досок, внутренности сарая издали просвечивали насквозь, Не то что воз сена, сноп соломы не спрячешь. И видно, давно уже никто не въезжал в ограду. Ворота почти развалились, скособоченные створы утопали в сугробе. К крыльцу вела тропка, промятая сквозь неширокий распах ворот. Люди, обитавшие в доме, пользовались ею — другого пути не было.

Хозяйку застали на кухне у печи. Собственно, сразу как вошли, не обнаружили никого: в избе держалась полутемь, несмотря на слепящее солнце за стенами. Окно в кухонной клети более чем наполовину забито, а остальные стеклины затянуло пухлым слоем куржака. Раньше чем глаза приноровились к полумраку, услышал тихий переступ чьих-то ног по полу и бренчание печной заслонки. В кухне держалось угарное тепло и сильно пахло мясной похлебкой. Запах был на удивление дразнящий, вкусный. Вошедший с ним солдат причмокнул.

Немного спустя возможно стало разглядеть кой-какую обстановку и старую ведьму, жгучим взглядом смотревшую на вошедших. «Ведьма» было первое слово, пришедшее Михаилу Павловичу на ум. Да и как еще иначе назвать старуху с провалившимся носом, раскосмаченными седыми буклями, опирающуюся на кочергу. Тут же рядом с ней было и помело, прислоненное к печному боку. Хитрая усмешка скользнула по старушечьим губам. Она уже около минуты наблюдала их растерянные лица с глазами, полуослепшими после яростного снежного блеска на дворе. Страха, столь обычного для простолюдинов, при виде полицейских не проявила. Ничего помимо ожидания и любопытства не выразилось на ее лице. В подобных обстоятельствах не робеют только люди искушенные, побывавшие в переплете не однажды. Именно

так и должна держаться хозяйка разбойничьего вертепа, в его представлении.

Первые вопросы ничего ему не дали: ни про Ивана Артемова, ни Артема Иванова хозяйка слыхом не слыхивала. И разве лишь беглый старухин взгляд, брошенный на него, выказал, что названные имена не проскользнули мимо ее внимания. Необычайно живые быстрые глаза и усмешка на губах странным образом молодили ее. Во взгляде светилась вовсе не старушечья заинтересованность. Острые, внимательные, все еще не потускневшие глаза необычайно оживляли ее лицо. Мелькнула мысль: а ведь в прежние годы она была далеко не дурна.

Спрашивать, заводили в ее двор на временный постой возы с сеном или каким другим товаром, надобность отпала. Все как будто свидетельствовало, что адрес указан случайно, и делать им здесь больше нечего, но чутье подсказывало Михаилу Павловичу — ключ к разгадке где-то тут. Глаза хорошо приноровились к скудному свету, и стало возможно подробней изучить обстановку. Несуразная смесь несоединимых предметов предстала взгляду. В переднем углу на киоте стояла небольшая иконка божьей матери в медном окладе, рядом с ней на стене прибито католическое распятие, а тут же, по другую сторону повешана фривольная картинка — аляповатое изображение голых нимф. Михаил Павлович хоть и не считал себя ревностным прихожанином — в церкви бывал, соблюдая долг христианина, а не по зову сердца,— но и его покоробило при виде столь откровенного кощунства.

Столь же дикое смешение представляла собой и прочая обстановка: рядом с деревянной лавкой и пустым курятником, заменяющим кухонный стол, находились добрые венские стулья, каким не зазорно стоять в приличном особняке. На стене, на вбитых в нее деревянных штырях висела одежда: драный шубур, заношенная бумазейная лохмотина и — модная шубка, отороченная куньим мехом, еще новая, почти ненадеванная.

Михаила Павловича привлекла толстая книга, лежащая на столешнице курятника рядом с глиняной кринкой и хлебной горбушкой. Он взял книгу и с изумлением прочел на обложке имя автора — Джон Милль.

Что же все-таки являет собой жилище Спиридоновой: разбойничий вертеп, притон контрабандистов или же место тайных сходов политических заговорщиков?

— Чья книга?

— Моя.

— Читаешь Милля?!

— Давненько уже ничего не читаю,— криво усмехнулась женщина.— В прежнюю пору студентик один подарил, христом богом молил, уговаривал прочитать: глаза, мол, раскроешь свои.

Неожиданное искреннее чувство прозвучало в ее словах, как будто не ему ответила, а своему давнему воспоминанию. Нечто знакомое мелькнуло ему в ее усмешке. Возникло состояние, какое случается только в сновидениях: казалось, вот-вот вспомнишь что-то нужное, значительное. Но ничего не вспомнил.

Подал знак сопровождающему солдату идти из избы.

— А книгу я заберу: запрещенная,— сказал он, собираясь выйти.

— Оставил бы. Никто ее тут не читает — некому. А мне память,— взмолилась женщина.— Уступи, а, Миша Ротмистр.

Он вздрогнул и стал на пороге вкопанно. Медленно обернул к ней голову. Откуда ей известно его прозвище? Оно ведь совсем недолго и подержалось за ним. Он уж сам давно позабыл. Было это еще в гимназические годы. Как-то в споре со сверстниками он вступился в защиту жандармерии, заявив своим вольнодумно настроенным приятелям, что служба сия полезна, не позволяет расшатывать государственные устои.

— Неприятие жандармов не указывает на прогрессивность взглядов. А с вашей стороны, так просто бравада,— обвинил он своих одноклассников.

— Ротмистр. Миша Ротмистр!— выкрикнул один из обиженных.

На некоторое время кличка Ротмистр пристала к нему.

Когда же это было? Никак не меньше пятнадцати лет назад! Так кто же это явился ему из прошлого в образе ведьмы?

Дверь за ушедшим затворилась сама собой, а Михаил Павлович все стоял на пороге, впившись взглядом в лицо старухи. Медленно созревала догадка: вовсе перед ним не старуха. Дурная болезнь

прежде времени иссушила ее, изувечила лицо. Да неужели же она! Пятнадцать лет назад она гляделась восемнадцатилетней, хотя на самом деле ей было уже двадцать пять. Выходит, теперь сорок.

— Василиса... Шалая?— не очень уверенно произнес он.

— Она самая и есть,— со скрипом рассмеялась женщина.

— Господи!— только и мог воскликнуть он.

— Так ты оставь книгу, Миша, все-таки, память.

— И это тоже?— указал он на распятие и на безобразных нимф.

— И это,— подтвердила она.— Только книга — дороже. Он был такой забавный... Искренний.

— Возьми,— вернул ей книгу.— Только спрячь. Господи, Василиса Шалая, — все еще не придя в себя, пробормотал он, с изумлением обнаруживая все больше и больше сходства безобразной старухи с тем давним обворожительным созданием из заведения.

Уже выйдя во двор, казалось, все еще слышал позади себя какой-то скрипучий злоядный Василисин смех. Оглядывался на окна, хотя ничего невозможно было увидеть сквозь оледенелую стеклину.

Все три конские головы повернулись в сторону вышедших из ворот. Лошади томились на привязи порознь. Жеребец вынудил Сухарева прибегнуть к этой мере, иначе бедняге Чалому было несдобровать.

— Погоди еще,— сказал Михаил Павлович Сухареву, который собрался отвязывать поводья.— Заглянем вон туда,— указал он на дом, выглядевший поухоженней соседних, опоясанный добротными надворными строениями и высоченным заплотом.

Посредине сверкающей зимней колеи навстречу им вприпрыжку шла девка — этакое легконогое юное создание, про каких говорят «кровь с молоком». Румянец на ее щеках аж светился. Чем-то давно знакомым брызнуло на Михаила Павловича с ее озорного смешливого лица. Глаза, сверкнувшие посреди опушенных инеем ресниц, напомнили не то собственное детство, не то сладостную картинку из позабытого сновидения. Невольно обернулся вслед девке.

Солдат, сопровождавший его, шоркнул вязаной варежкой по своим не успевшим заиндеветь усам.

— Ух, язва!— сорвалось у него.— Огнистая девка.

Молодица свернула в ту самую ограду, откуда они только что вышли. Немного задержалась, озирая стоявших поодаль лошадей и Сухарева, который хотя и окоченел на морозе, но тоже враз подтянулся, взбодрился, завидя красотку.

Разрумяненное морозом молодое лицо, промелькнувшее мимо, высветило в памяти другую картину.

Предзакатное солнце освещало рощу, в которой прятался загородный ресторан «Северная Пальмира». С берега Ушаковки виднелся конек крыши, да сквозь колышимую густую листву взблескивало одно из окошек на втором этаже. Звук шуршащей под ногами гальки сливался с тихим плеском текущей воды. В середине знойного лета речка пошла на убыль. На быстрине течение дробилось о мелкий валунник, солнечные блики плясали на частых волнах. Вечерняя свежесть полнилась запахами луговых цветов и речной отмели, пропитанной невидимыми отложениями рыбной мелочи и созревающих икринок. Запах был приятен и действовал возбуждающе. Позднее, в зрелые годы любое напоминание этого запаха наполняло его душу сладостным чувством тоски и неисполнимого желания.

Тогда им владело другое чувство. Наверное, слово влюбленность не передаст состояния, в котором он находился. Было нечто большее — духовный взлет, который определял на всю остальную жизнь, каким ему быть человеком: жить ли ему и дальше с искрой благородства в сердце, никогда не запятнав себя бесчестием, или же стать на путь легкого и быстрого удовлетворения собственных желаний, не пренебрегая при этом никакими средствами.

На берег они вышли вдвоем с Василисой. Она была юной и свежей, почти такой же, как только что встреченная девица. Нет, он не был настолько наивен, чтобы не догадываться о истином назначении Василисы при ресторане. Развлечься в «Северную Пальмиру» наезжали бравые офицеры, румяные отпрыски иркутских богатеев, не брезгали заведением и их дородные, бородатые папаши.

Василиса служила не единственной приманкой, но — главной. Как ни строги были мерки, по которым в заведение отбирали девиц, но соперниц у Василисы среди них не было. Не сказать, чтобы ее красота была совершенной, но было в ее облике нечто, придающее неотразимость ее чертам, некий странный свет, озаряющий ее изнутри. Остальные красотки служили фоном, их могло быть сколько угодно, сколько понадобится для развлечений клиентов. А второй Василисы не найти. И потому была она на особом счету, на особом положении, и обращались с нею иначе, не как с остальными.

В девицах, служащих для утехи состоятельных мужчин, никогда не бывало недостатка. Павел Онисимович Немилов, преподававший историю в гимназии, уверял, что и Вавилон, и Древний Рим пали не под ударами варваров, а оттого, что нравы были развращены, юноши, которые в прошедшую героическую пору мечтали о воинских подвигах, стали изнеженными и ратному делу предпочитали легкомысленные развлечения в обществе соблазнительных, но легко доступных блудниц. Старый учитель употреблял только это слово — блудница.

Впервые Миша Требесов очутился в загородном ресторане в компании гимназистов из старшего класса. Он сильно гордился, что был допущен в их среду, почти как равный. Одно огорчало: новые Мишины приятели взяли в привычку подшучивать над его неискушенностью, самих себя выдавая за многоопытных, давно познавших женскую ласку.

Броская и загадочная красота Василисы поразила воображение пятнадцатилетнего подростка. Увлечение было бурным, наивным и безумным. В ту пору он был неисправимым идеалистом: верил, что внешняя красота непременно отражает благородство души. Будучи для своих лет немало начитанным, Миша про себя сочинил историю падения Василисы — романтическую историю, в которой ей выпала роль невинной жертвы. Стечение роковых обстоятельств сделало ее блудницей. Мысленно он пользовался только этим словом, поскольку более привычное — проститутка — звучало грубо. Он настолько уверовал в сочиненную им историю, что разубедить его не смог бы никто, даже сама Василиса, расскажи она ему правду. И первое, что пришло ему на ум,— спасти падшую, предложить ей руку и сердце. Разница в летах не пугала, да он и не знал тогда, какова эта разница на самом деле. Выглядела Василиса столь свеже, что в этом пункте обманывались и куда как более искушенные.

Мишино предложение чего-то стоило: в его жилах текла благородная кровь. Семейное предание, завещанное ему и сестре от матери, свидетельствовало, что их предки польские шляхтичи служили еще при дворе несчастного Сигизмунда Вазы. Едва ли кто из Мишиных одноклассников мог похвастаться столь древней родословной. Это обстоятельство позволяло ему свысока глядеть на сверстников, которые напрасно кичились перед ним положением и богатством своих родителей. Польского языка он не знал, в их семье только мать могла объясняться по-польски. От нее Миша узнал одну поговорку, как нельзя более подходившую к нему: «Хоть пинензы нима, но гонор мам». Мать употребляла ее не в насмешку, а с достоинством.

Товарищи, прослышав о его намерении, просмеяли восторженного юношу. Насмешки не охладили Мишу. Он-таки добился свидания с Василисой наедине: она согласилась пойти с ним на прогулку. Он сказал ей все, что надумал, хотя и сбивчиво, но с горячностью искренней страсти.

— Спасибо, мальчик,— произнесла она и дотронулась до его шевелюры.— Какие у тебя славные кудри, как у девочки.

Миша вспыхнул. Но в тоне Василисы вовсе не прозвучало издевки, как он мог бы заключить из ее слов.

Рандеву закончилось ничем. Невинность он сохранил, дворянскую честь не запятнал связью с блудницей. Но как же он тогда переживал, страдал, хотел даже покончить с собой... Однако время шло, он был молод и жизнелюбив, вскоре от недавнего увлечения не осталось следа. Разве что изредка в сновидениях вдруг появлялся берег Ушаковки, всплывали волнующие запахи вечерней реки, и он ощущал неслышное, но тревожащее прикосновение невесомой женской руки.

Мог ли он тогда вообразить, что прой-

дет всего лишь пятнадцать лет и красавица, обвораживающая юнцов, сводящая с ума благообразных отцов семейств, превратится в пугало.

Выходит, в ту пору у Василисы была дочь! Неясно только, кто же ее воспитывал, нянчил? Не Василиса же, проводившая время в беспрестанных кутежах. О малютке мог позаботиться владелец ресторана: в его интересах было освободить Василису от ухода за дочерью. Во всяком случае, кто-то заботился о девочке — выросла. Но неужто и она теперь пойдет по той же дорожке!

Похоже, усадьба, куда они направлялись, содержалась добрыми хозяевами. Даже и дворовый кобель сознавал это, держался владыкой. Ни форменная шинель, ни хлыст в руке Михаила Павловича, которым он угрожал псу, не устрашили того, только пуще разъярили. Пришлось им ждать, когда из дому выбежал долговязый подросток и загнал кобеля в будку. Высокое крыльцо и просторные сени указывали на то, что живут здесь люди обстоятельные, рачительные. Михаил Павлович ничуть не удивился, когда, отворив дверь, ступил в хорошо освещенную солнцем переднюю. Хозяин в бордовой косоворотке, подпоясанной узким ремешком с блестящими наклепками на кончике, держался с достоинством, без признаков раболепия. Пригласил пройти в горницу. Здесь было прибрано, все находилось на своих привычных местах. В красном углу в застекленных створках сияли образа, чистое расшитое полотенце обрамляло их. Хотя стульев с гнутыми спинками не было, зато лавки и табуреты были покрыты домотканой цветастой холстиной, возле стены между окнами стоял фасонный буфет, разбитый на мелкие отделы и ячейки, застекленные рисуночным стеклом. Сквозь стекло виднелась праздничная посуда. Невысокая раздвижная ширма отгораживала один угол. За ее ситцевыми стенками слышалось чье-то присутствие, судя по хриплому дыханию, больного или старика.

Кроме хозяина и подростка, встретившего их во дворе, в доме были немолодая женщина и девка годов шестнадцати.

На вопросы Михаила Павловича сперва отвечал только хозяин. Говорил он толково, по делу, не топчась на мелочах, как бывает часто. Хозяйка при этом живо перебрасывала взгляд с одного на другого, вникала в суть и, видимо, старалась угадать, какая такая причина привела помощника полицейского пристава в их дом. Парень и девка так же слушали разговор, навострив уши, хотя и старались не выказывать заинтересованности. У девки отменная коса, почти до колен, толстая, как полено. Светлые волосы слегка золотились на свету.

Из ответов на вопросы, какие задавал Михаил Павлович, получалось, что дом Спиридоновой и сама хозяйка пользовались в околотке дурной славой. Что разговор зашел именно о ней, хозяев ничуть не удивило.

— Бывает, по неделе пустует изба и труба не дымится. А то вдруг посреди ночи, ровно на шабаш соберутся,— шум, гам, гармошка, пьяные орут...

— Сама Василиса такая,— не удержалась, вставила слово хозяйка.— Если не колдунья, так уж на одном-то помеле с ведьмой каталась.

— Кто к ней приходит? Что за люди?

— Известное дело кто, — хозяин немного замялся, бросил сердитый взгляд на деваху, которая тут же изчезла с глаз. Михаилу Павловичу видно было ее в дверной проем, наполовину лишь задернутый пологом. Девка нарочито громко бренчала печной заслонкой, показывая свое усердие в домашней работе.

— Завелась коза во дворе, так козлы через тын прискачут,— пояснила женщина.

— Сватаются?

— Нут-ка, кыш!— точно на кошку, прикрикнул хозяин на девку.— Сколько раз говорено — марш за водой!

Та, не прекословя, накинула шубейку, мгновение спустя, загромыхала ведрами уже в сенях.

— Срам один,— женщина прочно перехватила нить разговора, она теперь отвечала на вопросы.— Кабы холостые бесились, а то — женатые. Прикатит на извозчике, ящик конфет, шампанского — и пошла писать губерния. Всю ночь напролет — собакам уснуть не дадут.

Словоохотливая хозяйка многое рассказала Михаилу Павловичу, чего он и не выпытывал. В бытность, когда Василиса была еще молодой, за ней купцы и офицеры на тройках приезжали. От

возка до сеней дорожку бархатом устилали. Была бы с умом, озолотилась на всю жизнь.

— Дурными деньгами богатства не составишь,— не согласился хозяин.

— Так она и просвистела все — голые стены остались,— не то споря с мужем, не то соглашаясь, сказала женщина,— Красота, она ненадолго дадена. Износилась, так кому нужна стала? В ту пору и дитя прижила, сказывали, от офицера заезжего. Тот жениться сулил, а после одумался — укатил к другой, настоящей невесте, про Василису думать забыл. Теперь вот дочь Глафира подросла — по материнской дорожке покатилась.

— Ну а приезжие из деревень, кому нужно дрова, сено продать или по какой другой надобности приедут — у Спиридоновой не останавливаются?— спросил Михаил Павлович, уже просто так, для порядку, заранее предвидя ответ.

— Нет. Кому охота в голые стены. На постоялом ночуют, у Саввы Рябинина. Тоже, бывает, загуляют, до полуночи дым коромыслом. Только народ там другой — им бы напиться да подраться, у кого кулаки чешутся.

Сквозь двойные окна послышалось, как во дворе взлаял кобель. Но гавкал не злобно, как давеча на полицейских, а приветливо. Михаил Павлович подумал, то воротилась хозяйская дочка. Однако хозяйка с хозяином молча переглянулись, а подросток вдруг оживился и лицо у него вытянулось. Отворилась дверь, запустив в переднюю облако морозного пара. Когда оно рассеялось, на пороге объявилась встреченная ими на улице дочь Василисы Глафира — та самая коза во дворе, до которой так охочи козлы.

— Зрасте, любезные,— поздоровалась громко, озорно, с вызовом.

— Здравствуй, коли не шутишь,— чуть помедлив, отозвался хозяин, однако не без приветливости в голосе.

Хозяйка неодобрительно фыркнула, окинула гостью придирчивым взглядом.

Подросток, молчаливо сидевший на лавке в дальнем углу кухни, невидимый сейчас ни отцу, ни матери, заблестевшими глазами впился в девку, которая не торопясь выпростала голову из-под платка. На сей раз на ней была надета та самая шубка, отороченная куньим мехом, которую Михаил Павлович приметил в доме Василисы.

— О, да у вас важные гости,— притворившись удивленной, воскликнула Глафира.— Этакие без заделья на посиделки не приходят.

По обращению, по повадке видно, ей случалось бывать и не в таком обществе, цену себе знает. Платок мешал ей, скинула его с плеч на лавку. Густые темные волосы отливали старинной бронзой. Очень стала похожа на свою мать, какой та была в молодости. Но вместе с тем явственно обнаружилось, что ее красоте недоставало какой-то малости, этакого завершающего штриха. Все черты лица по отдельности хороши, пожалуй, даже совершенней, чем были у Василисы: прямой нос с крутыми крыльями, глаза с чистейшей просинью, открыто и смело глядящие, чуть приоткрытые губы, за ними перламутрово поблескивающие ровные зубки.

Все совершенно. И все же чего-то недостает. Неизвестно только чего. Или это сам он изменился, смотрит на Глафиру не теми глазами, какими в пятнадцать лет смотрел на Василису? Тогда он своим романтическим воображением дорисовывал недостающее, наделял Василису духовностью гораздо большей, чем было на самом деле. Если и было в ней что-то возвышенное, так среда, в какую ее завлекло, все подавила. Были его глаза зорче в ту пору или же, напротив, теперь приобрели способность провидеть. Будущее Глафиры он мог безошибочно предсказать, не нужно и на картах гадать: вон оно ее будущее — в избе, где они недавно побывали.

Сколь не привычна Глафира к мужскому вниманию, а изучающий взгляд Михаила Павловича смутил ее. Потому, наверное, и смутил, что не таким вниманием она избалована.

— Зачем это господин полицмейстер в наш околоток пожаловал?— Сразу на две ступени повысив Михаила Павловича в чине, спросила Глафира.— Уж не убийцу ли Степкиного ищите?

— Нешто ли Степку убили?— обернулась к ней хозяйка.— Не бреши!

— Зачем мне врать? Часу, поди, не прошло, как его из полыньи напротив городской бани выловили.

— Чего это его в баню-то привело?

— Может, вши заели,— рассмеялась Глафира. — Не в бане его ухлопали,— растолковала она,— а рекой принесло к полынье. Где-то выше на Ангаре пристукнули и в прорубь спихнули. А река возьми да точнехонько в полынью вынеси. Бабы увидели — коромыслом выудили. Народу сбежалось. Я тоже на лед сошла. Глянула и обомлела — Степка!

— Пошто, говоришь, убили?— хозяин опередил Михаила Павловича: задал вопрос, который у того вертелся на языке.

— Не сам же он в прорубь нырнул. Голова у него проломлена — об лед этак не зашибешься.

— Какой он из себя, Степка?— новость заинтриговала Михаила Павловича: не вчерашний ли контрабандист?

— Непутевый мужичонка,— ответил хозяин.— Недоумок и шалопай, хотя давно уже не мальчик.

— Ко мне сватался,— залилась смехом Глафира и вся раскраснелась — сияла как куколка.

Но хотя и непутевым считался покойный Степка, а столь уже явная веселость показалась неприличной не только хозяйке — хозяин, строго глядя на гостью, неодобрительно покачал головой.

— Какой ни на есть — над покойником грех смеяться,— вслух осудила женщина незваную гостью.— Ты бы лучше над купцом смеялась, который к тебе от жены бегает.

Действие, какое эти слова произвели на Глафиру, поразило Михаила Павловича: не ожидал он, что так вот мгновенно может она посерьезнеть и смутиться. Отчего-то новое открытие неприятно обеспокоило его, но задуматься над своим чувством было не время — другое заботило его сейчас.

— Опишите, какой он собой?— обратился он к женщине и, не дожидаясь ответа, начал подсказывать:— Щуплый, бороденка редкая, чуть рыжеватая, с виду лет тридцати, суетливый, рукам все время места не находит...

— Он! Он самый,— подтвердила хозяйка, изумившись провидению полицейского пристава.— Вылитый Степка! Якшался бог знает с каким отребьем. Добрые люди упреждали — добром не кончишь. Не послушал.

— Где он жил?

— Тут, неподалеку, в родительском доме — пятистенок на соседней улице. Да вот же, — сунулась было к окошку, — кабы стекло не намерзло, так видать избу: их огород в аккурат за нашим через прясла. Одно слово — непутевый. Дурочку ему сосватали в Грудинино, на днях ездил смотрины устраивать. Умная за него не пойдет. Летось его отец занедужил, с печи не встает. Степке нет бы хозяйством заняться, так он все запустил. Деньги у него завелись. Хвастал, мол, в деле торговом состою, Иван Артемович хорошо платит.

— Иван Артемович?— невольно вырвалось у Михаила Павловича.

— Купец. Валежина Артема сын, — пояснил хозяин. — Степка набрешет, что было и чего не было. Купец в наши края по другой статье наведывается.

— Так видели Степку — от Валежиных со двора выходил,— оспорила хозяйка.

— Кто в торговом деле состоит, тот через параднее ходит — не со двора,— не согласился хозяин.

Хозяева продолжали еще судачить между собой, но Михаил Павлович уже не вникал. Внезапная испарина выступила у него на висках. Нет, неспроста покойный Степка назвался Иваном Артемовым.

Рассеянно глянув в раскрасневшееся лицо Глафиры, Михаил Павлович торопливо распрощался с хозяевами: не терпелось ему скорее глянуть на убитого Степку, удостовериться, что он и есть вчерашний бедолага, которого Михаил Павлович думал завербовать в доносчики.

Когда поравнялись с домом Спиридоновой, на его крыльце неожиданно появилась Василиса. Выскочила из избы в чем была, простоволосая, на дневном свету еще больше похожая на ведьму.

— Голубчик! Мишенька,— скрипуче кричала она, расплывшись безобразной косоротой улыбкой.

Кудлатая дворовая собачонка в присутствии хозяйки преобразилась: яростно кидалась на проходивших мимо ворот полицейских.

— Уси! Уси их, Мышка,— ненормальным смехом заливалась Василиса.

Внезапно она подскользнулась и съехала вниз по ступенькам.

В ту же секунду мимо полицейских,

обгоняя их, во двор вбежала Глафира. Собачонка, взвизгивая радостно, прыгала на нее, но девке было не до собаки — пинком отшвырнула ее от себя.

— Не срамись, мама!— сердито набросилась на Василису, которая тщетно пыталась подняться на ноги.

— Доченька моя, радость моя,— лепетала та.

И только тут Михаил Павлович сообразил, что Василиса пьяна, вдрызг пьяна. Должно быть, давеча Глафира бегала за водкой или самогоном для нее.

Прежде чем сесть в седло, Михаил Павлович потуже подтянул подпругу и немного укоротил стремена: предстояло ехать под гору. Лошади, предвидя скорое возвращение в конюшню, шагали резво.

То ли он нагрелся в избе, то ли на дворе потеплело: все же февраль не январь, солнце не только светит, но и пригревает. К вечеру мороз обратно возьмет свое, но сейчас к полудню чуток отпустил. Знобкий низовой ветер утих. Над Ангарой разливалось белесое сияние. Солнце начало клониться к закату, но сумерки наступят еще не скоро.

Мысли Михаила Павловича недолго держались на участи злосчастного Степки. В воображении живо рисовалось лицо Глафиры, то сливаясь, то разнясь с лицом Василисы, каким оно помнилось с давней поры. Нет в мире ничего более несправедливого, чем красота, которая вводит в обман. Страшно не то, что из-за нее юные души вовлекаются в разврат, куда как пагубней другое — человек теряет веру в разумность и справедливость божественного устройства. Является сомнение, которое подтачивает веру.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Весь день Елена Павловна изыскивала себе занятия, лишь бы только отвлечься, забыть про то, что ее мучило. Вечером после обеда надумала пойти к модистке: пора, дескать, позаботиться о наряде к предстоящему балу. Иван Артемович предложил заложить в кошевку любимую ею мухортую кобылицу.

— Не нужно,— удержала она его, когда муж хотел распорядиться. — Пройдусь пешком — всего-то два квартала.

— В этакую стужу! При твоем состоянии.

— Напротив, полезно. Утром я выходила из дому, мне только лучше стало от этого,— заверила она.

— Ну, если так,— не возражал больше супруг.

В воздухе еще витал едва ощутимый запах недавнего полуденного потепления — первое в эту зиму напоминание о приближающейся весне. Но заметно уже приморозило. Солнце повисло над Кайской горой, вот-вот скроется за ней. Небо в той стороне сделалось предзакатно-палевым, но еще не начало багроветь. Холодные тени от домов наискось пересекали улицу.

Пройдя немного, Елена Павловна оглянулась. Особняк смотрелся мрачным, кирпичные выступы, озаренные косыми лучами с одной стороны, разлиновали бревенчатую стену сверху вниз. Крохотные оконца в углублениях между контрфорсами наводили на мысль о тюрьме. Недоставало только решеток. Впервые в глаза ей бросилось несоответствие парадного крыльца с навесом, самодовольно выступающего в улицу, с видом стены, обращенной во двор. Как будто подставили одно к другому из разных зданий.

Особенно дом Валежиных проигрывал в соседстве с двухэтажным особняком Бабаевых, карнизы и наличники которого изукрашены затейливой резьбой, а по углам на скате крыши стояли причудливые башенки. Сейчас под снежными шапками они напоминали клетки для канареек, когда их закрывают накидкой, чтобы птицы уснули. Казалось, имей она возможность жить вот в таком праздничном, светлом доме, все ее беды сняло бы как рукой.

Кстати, рукам в енотовой муфте было покойно и тепло. Утреннего ветра не стало, но дым не поднимался кверху, а оседал, обволакивая улицы пахучим туманом. Про цель, с какой она вышла, Елена Павловна, позабыла, а когда спохва-

тилась, увидела, что идет в другую сторону. Возвращаться не захотела. Дойдя до Баснинской, машинально свернула направо и вышла на Амурскую и лишь тут сообразила: ноги сами несли ее к знакомым местам, где прошло ее детство. Во всякую трудную и печальную для нее минуту ее тянуло туда. Одноэтажный дом окнами на Ангару, вернее, на прибрежный пустырь между двумя каменными церквами, по-прежнему стоит там. Каждый раз, когда она проходит мимо его высоких окон, сердце у нее обмирает от щемящей и сладостной тоски.

Над обширной площадью перед новым собором призрачным маревом сконилась морозная мгла. Сквозь нее едва проступало основание храма, и только центральный купол, вознесенный в блеклое небо, сверкал, озаренный закатными лучами. Справа от него тщетно рвался ввысь тонкий шпиль костела: тягаться с собором ему не по силам, тень накрыла его полностью.

В костеле Елена Павловна бывала лишь в раннем детстве, а после их с Мишей по настоянию отчима крестили в православную веру и больше не позволяли ходить в костел. Она смутно помнит одну волшебную музыку, которая рождалась в подкупольной вышине готического храма. При взгляде на костел ей всегда вспоминалось звучание органа, и ее ненадолго охватывало состояние, подобное сновидению. Со службами в православном храме не связано отрадных чувств: в детстве ее принуждали ходить в церковь, требуя неукоснительного исполнения обрядов, не давая никаких объяснений. Она полюбила слушать пение хора во время служб, но при этом никогда не испытывала молитвенного трепета.

Елена Павловна медленно обошла собор слева. Солнце к этому времени спустилось за сопку. Спасская церковь, которую до этого от нее заслонял собор, предстала окутанная жидким туманом. Призрачно белела церковная стена, из оконных ниш немо гляделись сгустки багровой тьмы — стекла отливали меркнущим светом заката. Невдалеке справа чернел остов знакомого дома. В нем прошло ее детство. Слышалось, как там лязгали железом: кто-то, не различимый издали, переходил от окна к окну, закрывал ставни. Круглые болты с прямоугольным вырезом на конце для чеки хорошо памятны ей. Глубокие и узкие пазы, через которые пропускалось железо, пронизывало всю стену. Почему она так боялась этих отверстий? Помнит, как, пробудившись среди ночи, со страхом прислушивалась ко всякому шороху, особенно к тому, что доносился от окон: ведь через сквозные отверстия в спальню могли заползти злые существа неведомого облика. Как же ей хотелось сейчас хотя бы ненадолго вернуться в ту пору, снова пережить те наивные страхи. Несбыточное желание минутной болью пронзило ее.

Назад шла по Тихвинской улице: если будет настроение, так завернет к модистке, а нет, по Троицкой вернется домой.

Минуя гостиный двор, непроизвольно замедлила шаги: из номера на втором этаже через раскрытую форточку доносились мужские голоса, похоже, спорившие о чем-то, раздавался женский смех...

Чуть ли не в этом номере и собирались тогда. Плавали облака табачного дыма, непримиримо взблескивали глаза яростных спорщиков. Словесные схватки представлялись ей подобием рукопашного боя, только что бескровного. Но в них были побежденные и победители. Последние легко распознавались по торжествующему сиянию лиц, по раскованности и уверенности жестов.

Елена Павловна представила себе точно таких же восторженных институток, какой была сама семь лет назад. Они молча сидят по углам, суть разногласий им не всегда понятна, но исход словесных поединков их занимает необычайно. Их глаза восторженно светятся в сумраке скудно освещенного номера, вдохновляя местных карбонариев...

А может быть, она заблуждается: вовсе не на такую сходку собрались сейчас в гостинице — кутят и веселятся, не ведая никаких других забот.

Задерживаться дольше под окнами неприлично, Елена Павловна ускорила шаг. Не вздумалось бы Ивану Артемовичу послать Глашу к модистке, чтобы встретить ее. Вот поднимется переполох, когда выяснят, что Елена Павловна не заходила к портнихе. Чего доброго, под впечатлением давешнего происшествия,

кинутся на Ангару. Рассказывали, будто в полынье напротив бани выловили утопленника. Глаша говорила, что у него проломлена голова, уверяла с такой страстью, будто видела своими глазами, хотя Елена Павловна доподлинно знает, что горничная не отлучалась из дому.

Слово полынья, лишь возникнув в уме, обдало ее ознобом. Представилось, как ледяная вода проникла под одежку, смертельными судорогами перехватила дыхание. Бр-рр!

Позади, настигая ее, все громче раздавались чужие шаги. Судя по твердости и резкому скрипу — мужские. Внезапное предчувствие охватило ее. Она шла, обострив слух, и держалась чуть напряженней, чем ей хотелось. Человек, настигавший ее, был уже за спиной: уличный фонарь бросил его тень на заснеженный тротуар рядом с ее собственной тенью. Они удалялись от источника света, тени стремительно удлинялись, и от этого казалось, что движутся они много быстрей, чем на самом деле. Елена Павловна отступила на обочину. Но шедший позади нее не захотел обгонять — замедлил шаги. Так они прошли еще немного. Теперь уже Елена Павловна стремилась скорее приблизиться к освещенному перекрестку.

Незнакомец держался позади нее, не далее чем в трех шагах. Елена Павловна приготовилась вторично уступить тротуар, как только они достигнут освещенного места. Нужно будет сказать ему что-нибудь, дать понять, что он ведет себя неподобающим образом. Но он заговорил первым:

— Лена, — негромко произнес он, она сразу узнала голос,— целую версту иду за тобой. Я, как влюбленный гимназист, торчал под вашими окнами, надеясь на чудо — увидеть тебя.

— Зачем? Мы не должны видеться.

— Не говори так. У тебя не хватает мужества признать правду.

— Правду? Какую правду?— минутная растерянность охватила ее, в уме судорожно пробежала мысль: откуда Виктору известно то, что мучает ее?

Виктор поравнялся с нею, в зыбком свете она узнала удлиненный овал его аккуратно подстриженной бороды. Меховая папаха наполовину скрывала высокий лоб мыслителя. Других подробностей разглядеть было невозможно, поэтому сказать, сильно ли он изменился за прошедшие годы, она не могла. Но глаза сверкали давними искрами неугомонного спорщика.

— Какую же правду я не смею признать?— спросила она, с облегчением осознав свою независимость от него. До этого мига она все еще опасалась за себя.

— Ты сама искала встречи со мной, только не признавалась себе.

Елена Павловна усмехнулась. Услышь она эти слова несколькими минутами раньше, пожалуй, сочла бы их за истину.

— Прости, ты либо нахал, либо ясновидец.

— Почему либо-либо? Нельзя быть ясновидцем, не будучи нахалом. Будешь скромным, никто не узнает о твоем даре. Все библейские пророки нахалы. Поэтому их и побивали каменьями. Большинство обывателей подобны скотам: покой им дороже счастья. Поэтому они и ненавидят возмутителей. Так было и так есть.

— А ты бы хотел, чтобы возмутителей покоя любили? Ты презираешь людей, называя их скотами, а в то же время жаждешь их любви, признания.

Говоря эти фразы, Елена Павловна про себя удивлялась, что способна на это, удивлялась одновременно и тому, что когда-то подобное пикирование казалось ей проявлением остроумия и самостоятельности. В ту пору ей льстило внимание Виктора и других, таких же, как он,— ряженных под карбонариев. Все, что тогда казалось остроумным, на деле было столь же претенциозно и банально, как и то, что они произносили теперь. Что-то уж очень легко вошла она в прежнюю роль. Верно, смотрела и слушала себя теперь как бы со стороны.

— Я презираю их — какими они стали, какими их сделала наша подлая действительность...

Он говорил еще что-то — она перестала слушать. Безвозвратно прошло время, когда она завороженно внимала каждому его слову — теперь до слуха доносились только произносимые звуки, ее сознание оставалось глухо.

— Близок день, который рассечет время на до и после,— уловила она фразу, знакомую ей издавна.

— И тебя это нисколько не пугает?

Он молча с ожиданием глядел на нее, глаза светились искрами отраженного света недалекого фонаря.

— По твоим представлениям день, который разделит время на до и после, разделит и людей на своих и чужих. Значит, прольется море крови. Сколько при этом пострадает невинных, просто порядочных, которые не захотят участвовать в кровавой распре?

Послышался хриплый смешок, тоже хорошо памятный ей.

— Уж не благотворителей ли, жертвующих на нужды обездоленных, называешь ты порядочными?

— Хорошо,— уступила она.— Помню: этих вы не щадили. По-вашему, все они жиреют на чужих бедах. Но пострадают их дети.

— Жертвы неизбежны...

— Господи!— воскликнула она.— Все то же.

— Что?— не понял он, к чему относилось ее восклицание.

— Какой я была наивной и глупой.

— Ты не была глупой. Никогда и никто не мог сказать этого.

— Не нужно — я знаю.

— Лена, мы не можем вот так посреди улицы.

— Ты полагаешь, я пойду к тебе в нумер?

— Зачем же. Я понимаю — в гостиницу невозможно. Я снял комнату, это недалеко. Эй, извозчик! — крикнул он, завидев подъехавший к подворью экипаж.

Рысак, негромко всхрапывая, сдерживаемый удилами, приблизился к ним. Елену Павловну покоробило. Хорошо, что в темноте извозчик не видит ее лица.

— Ты...— Гнев душил ее.— Ты и верно нахал!

Он молча взял ее под руку, пытаясь силой усадить в санки. Елена Павловна вырвалась.

— Я сейчас закричу, позову людей!

Извозчик, немного помедлив, отпустил вожжи.

— Слышь, барин!— обернулся он. — Ты поначалу барышню уломай, после извозчика кличь.

Одна-единственная мысль не отпускала ее, пока она шла домой: что же содержалось такого заразительного для нее в словах Виктора в то, прошедшее время? Или же причиной было совсем другое: она была молода и жаждала дела.

«Так неужто же каких-то семь лет состарили меня? Состарили душу?»

Уже подходя к дому, увидала Никиту, вышедшего из калитки. В темноте старик не узнал ее. Не за ней ли послан Никита? Иван Артемович отправил его встретить и проводить ее. Хотя для этой цели лучше было направить куда как более шуструю Глашу. На всякий случай окликнула старика. Нет, не за ней он направился, никто в доме не спохватился ее.

— Иван Артемович ушли в лавку на Дегтяревскую — там неприятности.

Ничуть ее не заинтересовало, какие неприятности возникли в лавке, не придала значения известию. Из слов Никиты почерпнула одно: мужа нет дома, он отлучился по делам в мелочную лавку, которая на Дегтяревской, неподалеку от почтамта.

Еще в парадном, поднимаясь по лестнице, услыхала наверху голос брата. Неожиданный визит. Вечерами Михаил Павлович избегал бывать у них в доме. В первый год замужества она обижалась и досадовала на брата, что он пренебрегает дружбой с Иваном Артемовичем, мечтала сблизить их. Ее воображение рисовало идиллическую картинку: сидят на диване Иван Артемович и Михаил Павлович, увлеченно беседуют, она, улыбаясь, смотрит на них, радуясь тихому и мирному счастью в доме. Увы, ее мечте сбыться не суждено: брат был не просто холоден к Ивану Артемовичу, а не любил его, тот в свою очередь не питал ни малейшей симпатии к своему шурину. Единственное, что не сговариваясь соблюдали оба, так это не выказывали своих чувств. Посторонний, наблюдая за ними, ничего не заметит. Обычно брат наведывался днем, когда муж либо находился в отлучке, либо не мог уделить внимания родственнику по причине занятости. Обоих такое положение устраивало. Встреч наедине они избегали, откровенных разговоров не затевали.

Елена Павловна недолго пребывала в недоумении: еще не поднявшись наверх, сообразила, что привело Мишу в неурочное для него время — беспокойство за нее. Ее утренняя болезненная вспышка

сильно встревожила его. Она уже и позабыла про свою истерику, а брат весь день помнил и мучился.

— Ну, слава богу! — воскликнул он, увидев ее. В глубине матово-карих глаз искристо вспыхнули две черные точки. Как бы хорошо он ни владел собой, глаза выдавали его чувства. Он умел погасить улыбку, заставить окаменеть свое лицо — глаза не подчинялись. Сейчас он улыбался, старался выглядеть беззаботным, а взгляд выражал озабоченность и сильное волнение. Он мог обмануть кого угодно, только не ее.

— Собралась к модистке, а вышла из дому, про все позабыла,— рассмеялась Елена Павловна, поражаясь тому, сколь естественно прозвучали ее слова: будто не было на душе у нее никакой тяжести.— На дворе прелесть — этакий чудный закат! Прошла мимо собора, мимо нашего старого дома...

Пока Глаша пособляла ей раздеться, она продолжала говорить безумолчно. А ведь скрывать ей совсем нечего. То была совсем невинная ложь, вернее игра, оберегающая ее от возможного подозрения. Наивно требовать от людей полную правду. Искренность до конца невозможна даже между самыми близкими людьми. В жизни человек постоянно вынужден балансировать между правдой и ложью.

Ей стыдно было вспоминать утреннюю сцену. Брат, конечно, простил ее, не помнит обиды, но сама-то она долго не позабудет.

Разговор шел о постороннем. Впрочем, постороннем для нее, а не для Миши. Известие про утопленника, принесенное Глашей, оказалось правдивым во всех подробностях. Совершено злодейство. Брат видел труп и мог подтвердить. Незавидная у него служба: постоянно иметь дело с самыми мрачными и грязными сторонами жизни. В первые годы она пыталась повлиять на него, отговорить от службы в полиции, придумывала ему другой род занятий, где бы он мог проявить способности, найти свое призвание. Но брат установил себе твердые правила: жизненную дорогу избрал раз и навсегда и, надо сказать, достиг уже немалого — вышел в старшие помощники пристава, а в скором времени его, возможно, назначат приставом. Самойлов, числящийся на этом посту более пятнадцати лет, ни во что уже не вникает, полностью все передоверил своему старшему помощнику: годы и здоровье принудили его отстраниться от дел. Брат на хорошем счету у начальства. Единственное, что может помешать его назначению, то, что он холост. Хотя тут она, может быть, и не права. Ей почему-то кажется, что полицейскому приставу не подобает быть холостым.

— Миша, почему ты не женишься?

Его перекривило, будто он невзначай хватанул уксусу.

— Помилуй, Лена.

Меж ними условлено не затрагивать этого предмета. Первая женитьба Михаила Павловича была неудачной. Хотя брак вроде бы заключался по обоюдной любви, очень скоро выяснилось, что и он, и она ошиблись: короткое увлечение приняли за прочное чувство. Как бы сложилась их дальнейшая жизнь, неизвестно — вмешался всемогущий случай. Молодая супруга Михаила Павловича в рождественские праздники сильно простудилась. Все лекарства и усилия врачей оказались тщетными. Сколь ни огорчательно было ему открыть в себе низменное чувство, но Михаил Павлович вынужден был признаться самому себе, что он обрадовался подобному исходу. Разумеется, обрадовался втайне, даже самого себя пытался уверить, будто это совсем не так. Жену сгубило легкомыслие: посреди бала она, разгоряченная, невзирая на его решительные протесты, несколько раз выбегала на мороз в легком платье, увлекшись не в меру заразительным весельем бывшей на балу холостой молодежи. Он напрасно пытался удержать ее, образумить: к этому времени у нее вошло в привычку во всем поступать наперекор ему. Произошло это четыре года назад, все траурные сроки, какие приличествует выдержать, давно минули. Выбор невест в городе достаточный, многие родительницы, имеющие дочерей на выданье, прочили Михаила Павловича в зятья, старались заручиться пособничеством Елены Павловны: через нее передавали приглашения на семейные торжества, зазывали на приемы. Михаил Павлович чурался подобных знакомств. Его поведение отчасти настораживало Елену Павловну.

— Этак ты превратишься в мизантропа.

В ответ он только улыбался.

Мизантропом Миша, конечно, не сделается, не тот характер у него. Об истинной причине его затворничества она догадывалась: брат был влюблен. Открытие она сделала случайно. Разговора с ним на эту тему не заводила: чутье подсказывало ей, что брат не станет откровенничать даже с нею. Случай был особо деликатный: Михаил Павлович был влюблен, как бывают влюблены одни лишь подростки. Он не мог открыться потому, что предметом его обожания была всего лишь девочка, гимназистка. Этакое воздушное существо с пышными вьющимися локонами, с кукольно-миловидным личиком. Красивая. Но красивая всего лишь своей свежестью, своим подобием распустившегося цветка, которому недолго радовать глаз — увянет. Такой она представлялась Елене Павловне. Вероятно, брат находил в ней не одну быстротечную прелесть цветка, а нечто большее, но от взгляда Елены Павловны эти ее достоинства были скрыты.

Мишиного увлечения она не одобряла: не в том он возрасте, когда мучаются платонической страстью — пора обзавестись семьей. Если даже его чувства и будут вознаграждены: через два-три года девица станет его невестой, воспылает к нему страстью, и они обвенчаются — со стороны ее родственников Елена Павловна не видела препятствий, так все равно их союз не будет счастливым. Слишком велика разница в летах. Девчушка может даже ненадолго увлечься, полюбить, но очень скоро ее взору откроются разрушительные, беспощадные приметы возраста, которых брат даже и не пытается скрывать. А вокруг хорошенький юной супруги начнут увиваться блистательные вертопрахи, которые в отличие от ее мужа умеют неутомимо танцевать на балу, без умолку болтать, поминутно повторять хоть и пошлые, и затасканные, но столь сладостные женскому слуху комплименты. На неравные браки Елена Павловна нагляделась, знает, чем они обыкновенно кончаются. Не такой судьбы хотела она для Миши. Не в его характере примириться с ролью мужа-рогоносца, мнимого обладателя красавицы жены. Лучше уж сойтись без взаимной любви, по расчету: по крайней мере, не испытаешь разочарования.

Мысли, пришедшие ей на ум, и задали направление разговору.

— Помнишь, Миша, мы рассуждали: что есть любовь? Не влечение, не страсть, которые временны, преходящи, а любовь истинная.

— У тебя на этот счет появились новые мысли? — В его взгляде на миг вспыхнула подозрительность: не намеревается ли сестра завести разговор о его увлечении. Он не сомневался, что для нее это уже давно не тайна. Елена Павловна поспешила рассеять его сомнения:

— Я очень много размышляла и пришла вот к чему: настоящую любовь испытывают немногие. Чаще в молодости. Потом благополучно забывают, наивно полагая, будто стали мудрее. На самом же деле утратили одну важную способность, которая в числе прочих и делает человека человеком.

— Ты стала философствовать?

— Представь себе.— Елена Павловна решила не обижаться: ведь его ироничность не столько обращена к ней, сколько выражала его неверие в женскую способность к серьезному размышлению. — Влюбленность — это... прозрение, способность на короткое время увидеть в другом то, что, может быть, никогда и не проявится, загубится. Влюбленные видят человека не таким, каков он на самом деле, а каким он мог бы стать.

— Глаза влюбленных просвечивают душу,— с улыбкой подсказал он.

По его лицу она поняла, что он принял ее мысль всерьез, но не желает в этом признаться.

— Именно так: глаза видят то, чего вроде бы нет, но оно есть — пусть заложенное только, но неосуществленное.

— Или неосуществимое.

— Зачастую неосуществимое. Лишь на короткий миг для влюбленных зримой становится эта зыбкая возможность — ее они видят, ее чарам поддаются. Мгновение истекает, и приходит то, что мы называем отрезвлением. На самом деле это утрата. Возможно, самая тяжелая утрата. Ничем не заменимая, никакими благами. Человек думает, он обманывается, поддался секундному влечению, ан нет — чувства говорили ему правду. Только не внешнюю, житейскую правду, а правду

глубинную, в обычном состоянии невидимую. Об этой-то утраченной способности мы после тоскуем всю жизнь. Довольствуемся подделкой настоящего чувства. Ведь даже и те, кто совсем не верят в любовь, признают ее романтической выдумкой, и они хотят невозможного — испытать это чувство. Увы, таковы мы есть: надеемся, что сбудется и то, во что не верим.

Последние слова она говорила отрешенно. Михаил Павлович пристально глядел на нее: в эту минуту сестра была необыкновенно красива.

— Может быть, ты и права,— согласился он.— Человек — существо загадочное. Не тот простенький человечек, про которого толкуют экономисты, живущий одними животными потребностями, а человек духа — подобие бога. Самое поразительное и необъяснимое в нас — это стремление к истине. Людям, зараженным ею, она приносит только беды. Блага всегда достаются другим. Это удивительно! — Михаил Павлович слышал — наверху появился Иван Артемович, о чем-то справлялся у прислуги, ненадолго задержавшись в прихожей, потом его шаги приблизились к двери кабинета, где уединились они с Леной, и теперь он уже мог слышать их разговор.— Удивительно и необъяснимо, — повторил он. — Если только... не считать, что люди, обремененные сей редкой потребностью, исполняют не свою волю...

— А волю свыше.— Иван Артемович, широко и благодушно улыбаясь, появился в проеме распахнутой двери.— Не ведаю, о чем разговор: расслышал только последние слова, — сказал он, протягивая своему шурину обе руки, изображая этим жестом не существующую между ними сердечность.

Михаил Павлович не поддержал игры, подал одну руку, пожатие получилось непродолжительным и вялым. Иван Артемович словно бы ничего не заметил.

— Угадал я?— смеясь справился он.— О праведниках шла речь?

— О них, — сухо подтвердил Михаил Павлович.— Сознание этого позволяет им, — продолжал он, обращаясь к сестре, — считать себя независимыми в нашем мире, подчиненном законам наживы. Им не сладко, но только они по-настоящему свободны и счастливы.

Елене Павловне показалось, что Миша все-таки неприметно сменил тему разговора: отчасти, видимо, этому способствовало появление ее мужа.

— Прекрасная идея, — как бы вовсе не замечая холодности гостя, продолжал Иван Артемович.— Только, увы, — скоморошьим жестом развел он руки, — не для нашего брата. Нам от барыша отказываться нельзя. Без барыша — фьють! В трубу.

Как ни тщился Иван Артемович произвести впечатление человека беспечного, в домашнем кругу позабывшего недавние заботы, готового шутить и балагурить, ему не удалось провести Елену Павловну. Не отдавая себе в том отчета, она глядела на него изучающим взглядом.

Михаил Павлович собрался уходить.

— Нет, нет! Этого я не допущу,— воспротивился Иван Артемович.— В кои-то веки собрались вместе, так и отужинаем у нас. Велю подать шампанского по такому случаю. Удержи его,— наказал он Елене Павловне.

— В самом деле, Миша, почему бы тебе не поужинать с нами?

— Что ж, пожалуй,— уступил тот.

Натянутости не удалось преодолеть и за столом. Усилия Ивана Артемовича создать видимость родственной простоты и раскованности, никем больше не поддержанные, не ослабили напряженности. Разговор продолжился, но так и не обрел легкости, приличной для застольной беседы. Будь Елена Павловна в другом настроении, она постаралась бы внести недостающие теплоту и доверительность. Сегодня она не в состоянии была играть роль гостеприимной и беспечной хозяйки. Ее лицо точно одеревенело, даже слабую улыбку ей приходилось выдавливать из себя.

Почему Иван Артемович заговорил о скуке, якобы царящей в городе, о том, что зимними вечерами горожане маются, не ведая, чем и как развлечь себя, она прослушала.

— Иные, кто помоложе, просто безобразничают,— неожиданно поддержал начатую тему брат.— Трое ухарей своротили афишную будку, затолкали в нее дырявое ведро и посреди ночи давай по

улицам катать — весь околоток переполошили.

— Развлечение для великовозрастных остолопов,— оценил Иван Артемович.— Самим раньше наскучило, чем кого-либо из постели подняли: наши обыватели крепки на сон. С этими шалопаями разговор короткий: изловить и высечь розгами принародно.

— Розги — средство домашнего воспитания. Законом не дозволено.

— А, право, жаль. Высечь на площади публично — полгорода привалит посмотреть. Назавтра чиновникам будет о чем посудачить на службе.

— Однако на службу приходят не развлекаться.

— А это как сказать,— усмехнулся Иван Артемович.— Мне сдается, что всякие там присутствия и конторы наполовину затем и существуют, чтобы людям было где посплетничать. Нет, нет, — как бы возражая шурину, поспешил оговориться Иван Артемович. — Есть конторы и деловые. К примеру, полицейская часть. Но да ведь и у вас случаются промашки.

— Какие промашки?— нахмурился Михаил Павлович, неожиданно для сестры обнаружив свою неизжитую детскую привычку закусывать нижнюю губу в моменты сильного волнения. Взглядом исподлобья скользнул по лицу Ивана Артемовича. Тот улыбался, стараясь произвести впечатление человека, ничем не озабоченного. Подстриженная клином бородка слегка удлиняла его округлое лицо, облагораживала, придавала некую аристократичность. Особенно это подмечалось, если сравнивать его внешность с обликом Артема Кузьмича, запечатленного на фамильном портрете. Черты лица повторились почти полностью, только портрет написан, когда старшему Валежину было уже под пятьдесят лет. Но не в этом главное различие, не в возрасте. Размашистая мужицкая борода лопатой и простая домашняя рубаха, в которой тот позировал, с первого взгляда изобличали простолюдина. Иван Артемович следил за своей внешностью. Аккуратно подстриженная бородка и костюм придавали ему сходство с Виктором Пригодиным. Открытие она сделала только что. Елена Павловна даже вздрогнула от неожиданности. Муж заметил ее тревогу и машинально глянул в зеркало на свое отражение.

— Какие промашки?— нетерпеливо повторил Михаил Павлович.

— Взять хотя бы сегодняшний случай, у меня в лавке происшедший,— начал объяснять Иван Артемович.

— В лавке?! — недоуменно воскликнул Михаил Павлович.

— Я думал, тебе известно. Нагрянули городовой с околоточным, отняли у приказчика фунтов двадцать чаю, сказали: контрабандный. А чай этот месяца три уже как в магазине у Хачиньи куплен мною по случаю. Большую часть распродали в розницу, а тут заказ от Баранова из Красноярска. Ну, я и распорядился в бумажные картузы развешать.

Неловкая тишина установилась за столом на все время, пока говорил Иван Артемович. Или уж так вообразилось Елене Павловне, что тишина была особенная, многозначительная. Но ведь и муж это же почувствовал: озабоченно перекинул взгляд с нее на Михаила Павловича. Брат, насупившись, неспешно перебирал по краю столешницы и, казалось, с вниманием следил за действиями своих пальцев.

— Ошиблись, так вернут с извинениями,— проговорил он.

— Ты уж распорядись, чтобы вернули. На извинениях не настаиваю: понимаю, такова служба.

— Но если чай контрабандный, не обессудь.— Михаил Павлович поднял голову и в упор глянул на своего зятя.

— Помилуй, откуда контрабандному взяться?— сдавленным смешком подкрепил слова Иван Артемович.

— Но ведь был повод заподозрить. Не без причины же нагрянули в лавку?

— Повод?... Повод подвернулся. Кто и куда направлял воз сена, в котором спрятан был чай, теперь попробуй установи. Хозяин, завидя полицейских, удрал, а лошадь возьми да подверни к воротам...

Кровь хлынула в щеки Елены Павловны, сердце бешено застучало. Она впилась в лицо мужа. Он чувствовал ее взгляд, но делал вид, будто не замечает.

— Экая напасть,— усмехнулся Михаил Павлович.— И вчера тоже задержали беспризорную подводу с контрабандой, при ней двоих мужиков. Ночь

их продержали в участке, а утром отпустили.

— Чего ж так?

— Понаблюдать за ними, чтоб выследить, с кем связаны. Не сами же они сбывают его.— В силу профессиональной привычки Михаил Павлович прикидывался простаком и отчасти как бы невзначай приоткрыл правду. Ему было интересно наблюдать за игрой Ивана Артемовича.

— Выследили?— поинтересовался тот.

— А вот тут и впрямь вышла промашка. Уж больно нерасторопному поручили дело, он упустил обоих. А в обед одного из полыньи выудили.

— От шпика удирал да в прорубь оступился,— подсказал Иван Артемович.

— Похоже. Да как-то очень неловко оступился — голову себе проломил, вроде как затылком на обух шмякнулся.

Иван Артемович снова рассмеялся наигранным смешком.

— Эва, какие случаи бывают.

Елене Павловне чудилось, что оба они нарочно играют словами: подразумевают нечто большее, чем произносят.

— Нашли убийцу?

— Отыщем.

— Что ж еще остается сказать? Бывает — находите виновных.

— А тут неясно, кого считать виновным.

— Загадки ставите самим себе там, где их нет. По-моему: того считать убийцей, кто обух подставил.

— Или того, кто велел подставить, тот поопасней будет.

— Мудрено. Есть у вас какая зацепка?

— Зацепка есть.

— Тогда бог вам в помощь. В общих ведь интересах, чтобы изловили убийцу: а то гадай, под чью голову он теперь еще обух подставит?

Разговор принял какой-то странный тон. Елена Павловна все время была в напряжении, у нее даже руки стали дрожать. Слово «обух» приводило ее в трепет.

— Здесь особый случай,— заверил Михаил Павлович.— Расправились со своим: испугались, что выдаст.

— Ну, коли своего, так не о чем и печалиться: воры воров перебьют, полиции легче.

Иван Артемович посчитал сказанное за удачную шутку — рассмеялся.

«До чего же у него отвратительный смех!— вдруг открылось Елене Павловне. — Этак должны хихикать молодые бесенята, когда учатся творить свои мерзости».

Брат серьезным, изучающим взглядом смотрел на Ивана Артемовича, пока тот не кончил смеяться.

— Нервы не выдержали у бандитов: из страху убили,— подытожил Михаил Павлович.— Риску было много главарям угадать в полицию. Задуматься, так незавидная у них доля: бойся таможенников и полицию и не меньше своих остерегайся, оступишься — ухлопают.

— Вот-вот!— Глаза у Ивана Артемовича алчно взблеснули.— По краю пропасти ходят, риску подвергаются ежечасно. Опасно? Очень. А ты не допускаешь, что рисковать — это еще и наслаждение?

— Идти на преступление, чтобы пощекотать нервы — изведать риск? Хм. Штучки для пресыщенных, избалованных роскошью. Убитый не из таких был.

— Что ж, пожалуй,— согласился Иван Артемович.— Пресыщенные... А ты что же их и за людей не признаешь? Я думал: этак только социалисты рассуждают. Тех заботит одна голь. Нет, нет, — выставив ладонь, он как бы предупреждал возможное возражение, которого Михаил Павлович не намеревался делать.— Вас, полицию, голь не интересует. Точнее, интересует в другом смысле: из армии голодранцев выходят преступники. Ваша забота соблюдать порядок. А порядок необходим тем, кому есть что терять, есть чем дорожить. Голодьба от нарушения порядка не пострадает.

Михаил Павлович молчал, с долею изумления глядя на своего улыбающегося зятя.

— Спросишь: зачем же на опасный путь ступают, кому выгоднее оберегать порядок? Им ради чего рисковать?

— Спрошу?— подтвердил Михаил Павлович.

— От лиха, от нужды не идут на риск,— дальше развивал свою мысль Иван Артемович.

— По-твоему, риск нечто вроде цели? Есть люди, которым риск — цель?

— Именно! — торжествующе взблеснул глазами Иван Артемович. — И рис-

ковать может лишь тот, кому есть что терять. Если нечего, какой же риск? Так, одно отчаяние. Ты не играешь в карты, тогда бы лучше знал — в карты садятся играть, чтобы риск испытать. А не повезет, так пулю в висок.

— Имеешь в виду младшего Абазова?

— И его тоже.

— Так разве он не из любви застрелился? — вмешалась Елена Павловна.

— В наш век из-за любви не кончают с собой, — усмехнулся Иван Артемович. — Не тот товар, чтобы за него жизнью расплачиваться. При любовных неудачах исцеляются другим способом.

Елена Павловна невольно покраснела, догадавшись, что подразумевает муж под другим способом исцеления.

Михаила Павловича ничуть не увлекло новое направление разговора, свернул на прежнюю тему:

— По-твоему, среди преступников возможны люди, которые этаким манером развлекаются?

— Их, конечно, немного, но есть, — подтвердил Иван Артемович.

— Но как же... — Елена Павловна растерялась, не находила слов, — позор, потеря чести...

Иван Артемович удивленно глянул на нее.

— Риск только тогда и риск, — сказал он, — когда ставка высокая. Ставя по копейке, можно умереть от скуки — игра потеряет смысл.

— Но то, о чем ты говоришь, не игра, — Елена Павловна сама не замечала, что голос у нее сделался сухим и жестким. — У игроков есть близкие, дети... Получается, что на карту ставят не только свою жизнь, но и честь близких, детей, внуков...

Иван Артемович снова рассмеялся. Его смех точно полоснул ее: какой же это бесцветный, вымороченный смех, будто он самого себя насилует.

— Вот тут-то и всеобщее заблуждение, — Иван Артемович оборвал смех так же внезапно, как начал. — Полагают, что своими действиями можно опорочить сыновей, внуков, — те не простят. Чушь! Все простят. Еще и гордиться станут. Чем прославились предки тех, кто сегодня кичится своей знатностью? Тем, что их родичи услуживали извергу Ивану, самодуру Петру, баловали развратную бабенку на престоле...

Это уже был непристойный выпад в их адрес — ее и брата. Хоть их предки и не служили русским самодержцам, но Иван Артемович не делал разницы между российскими царями и польскими королями.

Михаил Павлович принял вызов.

— Между прочим, ваши дворяне не только прислуживали, но защищали отечество, свою родину, веру. Потомки гордятся этими заслугами предков.

Слова «ваши дворяне» сорвались у него непроизвольно. Он хотел поправиться, но Иван Артемович не заметил оговорку.

— Ну, а у кого нет предков среди дворян, им чем гордиться?

— Своей принадлежностью к великой нации!

— Громко сказано, — снова пустил ехидный смешок Иван Артемович. — Нет великой нации! Одно воспоминание. Была, да измельчала. Честь давно на торги пущена. Ценится только богатство, состояние. А уж какими оно путями нажито, потомки не привередничают — берут.

Михаил Павлович горящими глазами впился в противника, готовый ринуться в бой. Сейчас, сию минуту у него сорвутся слова, после которых примирение станет невозможным.

— Миша, — тихонько проговорила Елена Павловна.

Брат глянул на нее, жгучая ненависть, пылавшая в его взгляде, потухла.

— Однако мне пора, — сказал он, поднимаясь.

— Неужели не посидим, не побеседуем, — засуетился Иван Артемович. — У меня чудный табак — мигом принесу.

— Не утруждайся, — с трудом придав голосу любезные нотки, произнес Михаил Павлович. — Меня, верно, в части ждут.

Только брат ушел, Иван Артемович кликнул Глашу.

— Спустись вниз, скажи, чтобы закладывали сани. Немедля!

— Ты куда-то спешишь? — Елену Павловну поразила поспешность, с какой муж готовился ехать на ночь глядя: всего несколькими минутами раньше он

удерживал брата, намереваясь продолжить беседу.

— Не расстраивайся, так нужно. И ради бога, не тревожься.

Вежливость и внимание, какие он уделял ей, показались неискренними: мыслями он был совсем не с ней.

— Я не задержу тебя, — сухо сказала она.— Пока запрягают лошадь, ответь всего на один вопрос.

Он глянул на нее с натянутой улыбкой.

— Если вопрос не сложный.

— Скажи, что было спрятано в санях, которые прошедшей ночью стояли в сарае?

— Вон ты о чем, — проницательно глянув ей в глаза, усмехнулся Иван Артемович.

— Ради бога, не притворяйся, будто тебе это безразлично. Вчера я подслушала ваш разговор внизу. — Чувствуя, как ее лицо заливается кровью, она упрямо тряхнула головой. — Да, это грязно, мерзко, я не имела права подслушивать, но так случилось. Я ведь не подозревала, что в нашем доме подслушивают разговоры приказчиков.

— Покойный батюшка не отличался щепетильностью, — рассмеялся Иван Артемович. — Я думал, тебе известно про слуховой колодец.

— Я ничего не подозревала! — горячо возразила она и вдруг подумала, что горячиться не из-за чего: Ивану Артемовичу и в голову не пришло обвинить ее в бесчестии. Но открытие ничуть не утешило, только сильней обозлило. — Если бы я знала, то никогда бы не унизилась до подслушивания.

Ивана Артемовича перекривило, как от зубной боли.

— Не надо, — взмолился он. — Не напоминай — без того не забываю, помню, что бесчестен, низок, подл. Я чем-то раздражил тебя? Ты, верно, не оправилась от болезни. Почему ты упорствуешь, не хочешь обратиться к доктору?

— Оставим это! Прошу тебя, не увиливай: я хочу знать правду.

— Какую правду?

— В завозне стояли возы с контрабандным чаем?

— Ты же знаешь. Хочешь, чтобы я подтвердил? Да, во дворе у нас прятали контрабанду. Твой братец, сыщик, напал на след, пронюхал. Только он опоздал — ничего не докажет. Сейчас я спешно еду в Грудинино, туда прибыла большая партия. Предупрежу — спрячут. Надежно спрячут — никто не пронюхает. Этим я окончательно обезопасю себя.

— Но у тебя в лавке нашли контрабандный чай!

— Жалких двадцать фунтов. Я мог бы подарить их твоему брату, не будь он таким гордецом. Незачем было травить на меня ищеек.

— Ты убежден, что это сделал брат? Ты никому не веришь. Так же нельзя жить!

— Не гневайся на меня, но скажу тебе без обиняков: вы с братом витаете в облаках. Вы с вашей верой в благородные идеалы наивны. Вокруг все лгут и обманывают, воруют... А вы охаете да ахаете...

— Подожди! — перебила Елена Павловна. — Не о том. Я хочу услышать от тебя всю правду: ты состоишь в шайке? Или как там она у вас именуется?

— Не вижу повода для отчаяния. — От защиты Иван Артемович перешел в наступление: отливающий чернью в ламповом свете клин его бороды, точно тупой меч, был нацелен ей в лицо. — Пожалуйста, не заламывай рук: у тебя это получается театрально. У вас с братом есть побрякушки, которыми вы дорожите,— ваш род, ваша знатность. В ваших жилах голубая кровь... А в моих мужицкая, такая же, как у Никифора, как у Глаши... Мои рядились не в шутовские одежды придворных, а в посконные рубахи, пахали землю. Потом стали торговать. Грабили и наживались, как считают социалисты. Как бы там ни было — разбогатели, вышли в люди. И всего этого достигли собственным горбом, потом, кровью. Не дворяне, не шляхтичи, которые бездельничали, пили, развратничали... А каких-нибудь сто лет или чуть побольше спохватились, увидели, что одичали, опустились, — начали приобретать культуру, привозить из-за границы...

Елена Павловна не вникала в слова, а только смотрела на искаженное злобой лицо супруга, на улыбку, судорогой перекашивающую его рот.

— О чем ты говоришь? — совершенно ошарашенная его натиском, спроси-

ла она. — Разве происхождение, знатное или незнатное, дает право вступать в сделку с бандитами, с ворами?

— Идя на риск, я сознаю, что значу что-то сам по себе, а не благодаря предкам. Вам этого никогда не понять. Вы живете по нормам, не вами установленным: это можно, а этого не смей: поступишь так — опозоришь свой род. А у меня нет рода, мне некого позорить. Мои предки позорят меня, а не я их.

— Но у тебя семья, дети... Ты хочешь, чтобы они стыдились имени своего отца?

— Стыдились? — скривился Иван Артемович. — Ты совершенно не знаешь психологию толпы.

— Психологию толпы? — опешила Елена Павловна.

У нее внезапно мелькнула обрадовавшая ее мысль: Иван Артемович помешался, у него душевная болезнь, нужно немедленно обратиться к докторам. Никто не обвинит его за связи с преступным миром, поскольку он действовал под влиянием умственного расстройства. Еще не поздно, его вылечат.

— Решать будет толпа. Только толпа. Будущее за толпой! — и впрямь будто невменяемый бормотал Иван Артемович что-то вовсе уже несуразное. — Толпу восхитит не ваша честность, не ваше благородство, а успех — достигли вы успеха или не достигли. А каким путем достигнут успех, им безразлично. Мои дети будут гордиться мной, тем, что у меня достало духу вырваться из обветшалых тенет...

Снаружи постучали чем-то деревянным — стук получился сухим, громким. Иван Артемович распахнул дверь — у порога стоял кучер, снаряженный в дорогу, с кнутовищем в руке.

— Иду. Я вернусь поздно, — обернулся Иван Артемович к жене с неожиданно любезной улыбкой. — Не жди меня. Об остальном переговорим завтра.

Дверь неслышно затворилась, шаги Ивана Артемовича и кучера вразнобой застучали на внутренней лестнице.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В часть можно было не завертывать: скорее всего, Мирошина в эту пору можно было застать у себя в номере. Он-то и нужен был сейчас Михаилу Павловичу.

— Не боле часу назад изволили съехать. Адреса не оставили, — с хорошо наигранной почтительностью объяснил половой. — Пожитки у них в одном сундучке уместились — на извозчике укатили.

Прислуга в номерах вышколенная, лишнего слова про постояльца не сболтнет, но при случае и уязвить не применет. То, что у полицейского надзирателя все вещички уместились в сундуке, для переезда хватило извозчика, факт, во мнении полового, достойный осмеяния. Перед Михаилом Павловичем выструнился с показным усердием, на роже изобразил нарочито глупую улыбку. Малый рослый, сложением не обижен, этакого нарядить бы в полицейскую форму, так — образцовый городовой. Небось знает, мерзавец, куда съехал Мирошин, слышал, когда тот приказывал извозчику, а вот ведь не скажет, если не поднажать на него, и поступает так безо всякого расчета, в силу привычки. Другой на месте Михаила Павловича сунул бы ему под нос кулак, и половой мигом вспомнил, что требуется. Похоже, он даже подосадовал на помощника пристава, что тот отступился: на лице промелькнула неудовлетворенность, когда Михаил Павлович повернул от него прочь. Половой поспешил следом, предупредительно отворил дверь, изогнувшись в поклоне. Чаевых от полицейского он, разумеется, не ждал, исполнил свою обязанность вполне бескорыстно.

Михаил Павлович не стал затевать волокиту: ему все равно необходимо было наведаться в часть, там он и узнает нужный адрес.

Но вот ведь какая штука: то, что он, полицейский чин, не выказал твердости, то бишь обошелся без рукоприкладства, он в глазах гостиничного слуги потерял долю уважения, а вовсе не приобрел. Будь на его месте младший помощник пристава Калюжный, так половой схло-

потал бы зуботычину. И ведь совсем не был бы в обиде. Гнусная публика! Так ведь не сегодня воспитанная и не вчера — столетия рабства ушли на то, чтобы лакейство впиталось в плоть и кровь. Теперь он свободу получил, а она ему вовсе и не нужна. Любого, кто с ним цацкается, обращается, как с человеком, он же и презирает. Но уж если самому доведись возвыситься над кем-либо хоть на вершок — этаким держимордой себя покажет, пострашнее мамая.

Надзиратель Мирошин снял комнату на Дегтяревской неподалеку от Ангары в доме мещанки Федосовой. Михаилу Павловичу идти было мимо лавки, принадлежащей Валежину. В столь поздний час лавка была заперта, железный засов тускло поблескивал, наискось опоясав массивную дверь. Сиделец с домочадцами жил в этом же доме на задах магазина. Во дворе помещались амбары и кладовые, где хранилась провизия и прочий товар. Комнаты, в которых жила семья приказчика, сообщались с лавкой, как это принято во всех подобных заведениях. Семья сидельца Захара Пьянкова состояла из супруги и троих детей. Еще с ними жила полунемощная старуха. Михаил Павлович не знал, кем она приходится, матерью Захару, или тещей, или же состоит в каком ином родстве. Здесь, в лавке у Захара Пьянкова, и обнаружили сегодня контрабандный чай.

Михаил Павлович недолго раздумывал — решительно отворил калитку, которая не была еще заперта изнутри.

«Пожалуй, Захар ждет кого-то», — мелькнула мысль.

Сторожевой кобель не был спущен с цепи, дремал в будке. Он оказался серьезным, зряшного лая не поднял, без излишней поспешности выбрался из конуры, отряхнулся и дважды басовито гавкнул, не столько затем, чтобы устрашить чужака, а чтобы известить домочадцев. Михаил Павлович давно подметил, что на поведении собак сказываются привычки и характер их хозяев. Насколько он знал Захара, изредка наведываясь в лавку, сходство заметное: сиделец был скуп на слова, сдержан. Про таких говорят: имеет к себе уважение.

В доме текла привычная жизнь: хозяйка и старшая дочь занимались каким-то делом в кухне, в угловой комнате, отгороженной от горницы заборкой не доверху, нешумно развлекались дети, изредка оттуда доносились негромкие восклицания и смех. А если шалуны увлекались, то тут же раздавался урезонивающий голос старухи:

— Не галдите, отец осердится, — и тишина восстанавливалась.

Все звуки мирной семейной обстановки Михаил Павлович впитывал с болезненным наслаждением и заботился лишь об одном, чтобы хозяин, с которым он беседовал, ничего не заподозрил. Домашние запахи стряпни, детские голоса, беззвучные шаги, негромкое бряцание посуды на кухне — все улавливал он своими обостренными чувствами, все, по чему так сильно тосковала его душа и в чем он не желал признаться самому себе. Нет, вовсе не для бивачного быта воина рожден он, как думалось ему в молодости, истинное его предназначение — быть главою семьи, живущей в согласии.

Когда из кухни ненадолго вышла старшая девочка, зачем-то неслышно прошмыгнула в комнату, где равлекались ее младшие братья, и ненадолго оставила приоткрытой занавеску на двери, он мог разглядеть, чем развлекались малыши под присмотром старухи. Вырезали из старого картона фигуры всевозможных зверушек и пускали от них тени на побеленную стену, разыгрывая потешные сценки: заяц во все лопатки удирал от волка, медведь делал строгое внушение провинившейся лисе... Судя по восторженным лицам детей, игра сильно увлекла их.

Вскоре старшая девочка и старуха ушли в кухню, наказав детям вести себя прилично.

Пора Михаилу Павловичу было удалиться. Собственно, от встречи с приказчиком он ничего особенного не ждал. Захар Пьянков, блюдя верность своему хозяину, чистосердечно лгал, уверял, что чай, который он развешивал для отправки в Красноярск, куплен в магазине у Хаченьи и до сегодняшнего дня хранился в паковке, опломбированной на таможне.

Возможно, Захар полагал, что помощник пристава вмешался неспроста, хочет выручить родственника, используя свое

положение, и не находил в этом ничего зазорного.

— Этак, когда хошь, нагрянь, сколь-то чаю найдешь не в фасовке, — высказал Захар, как бы подсказывая, мысль-выручалочку.

Он все же терялся в догадках и не особенно откровенничал с Михаилом Павловичем.

— Ну, а воз кто бросил? Почему лошадь к вашим воротам отвернула?

— Ума не приложу, — без зазрения совести лгал сиделец, глядя в глаза Михаилу Павловичу.

И ведь считает себя честным, и в самом деле честен и набожен. Ему и в голову не придет назвать свое поведение греховным. Вот сказать полицейскому правду он посчитает за грех, а обмануть почтет едва ли не за добродетель.

— Может, еще объявятся хозяева лошади.

— Не объявятся, Захар Емельянович. Ты это прекрасно знаешь.

— Может, и не объявятся, — охотно согласился.

Захар исподлобья бросил любопытствующий взгляд на сидящего напротив него полицейского чина, машинально погладил бороду. Поздний гость задал ему загадку: не понимал он, чего добивается тот. Держался раскованно, не лебезил, не заискивал, ходил на грани между откровенностью и скрытостью, но ни единым словом не обмолвился, не выдал хозяина. Михаил Павлович тоже гадал: поступает ли приказчик так потому, что выполняет наказ Ивана Артемовича не раскрывать карт перед его шурином, или же Захар избрал подобную тактику на всякий случай, возможно, даже рискуя навлечь на себя неудовольствие купца: ведь об истинных отношениях между ними он не знает. Нужно отдать должное Ивану Артемовичу, умеет он подбирать людей, преданных делу. Навряд ли Захар нуждается в наставлениях, как ему вести себя с полицейским приставом, будь хоть тот родным братом Валежина. И вряд ли сейчас осознает, что своим поведением выгораживает мошенника, фактически является сообщником. Убежден, что поступи он иначе, скажи правду, так сразу же покроет себя бесчестьем и поделом с позором будет изгнан, и ни один другой торговец не возьмет его в услуженье. И во мнении Захара купец будет прав. И сотни других сидельцев и конторщиков, которые служат Валежиным, Бревновым и прочим, думают точно так же. Захар набожен и по-своему честен, он ни на йоту не отступится от жизненных правил, которые почитает справедливыми и непременными для себя. С этой удивительной особенностью русской порядочности Михаил Павлович столкнулся в первые же дни своей службы на полицейском поприще. В ту пору его бесило подобное отношение. Тогда бы он накричал на Захара: «Потворствуешь ворам! В тюрьме тебя сгноить мало!» И сам верил бы, что перед ним если и не вор, так все равно злодей, сообщник. Но теперь из своего многолетнего опыта знал, что среди таких вот захаров попадаются наичестнейшие люди, искренне набожные, соблюдающие посты. Не ведают, что творят. Вот в чем главная наша российская беда.

Он никогда не отделял себя от России, хоть и родился поляком — считал себя русским. Не заразился от матери неприятием русского. Отчим тут ни при чем. Не он повлиял на убеждения пасынка. Просто Миша вырос среди русских и насквозь пропитался их духом. Придерживайся он иных убеждений, так никогда не избрал бы себе поприщем службу в полиции. И то, что давеча в разговоре с Иваном Артемовичем у него нечаянно сорвались слова «ваше дворянство», было для него самого неожиданностью. Почему он так сказал? Мысль эта не давала ему покоя, пока он не разрешил ее для себя.

Вот если бы он сам не был родом из польских шляхтичей, а был бы поляком незнатного происхождения, тогда бы он вполне мог произнести «наше русское дворянство», поскольку русским он себя признает. Но не русским дворянином, а просто русским. Так что не случайная оговорка у него получилась.

Делать ему в доме у Захара нечего, пора уходить. И чего ж он хотел добиться от верного валежинского приказчика? Заранее мог сказать, что никаких разоблачительных показаний не получит. Лишь сейчас, собравшись уйти, понял, что привело его в дом сидельца: выяснить все ли родручные Ивана Артемови-

ча мошенники! Удостоверился: не все. Но легче от этого не стало. Вывод напрашивался даже еще худший, чем если бы было наоборот, если бы Захар оказался мошенником под стать своему хозяину. Тогда бы можно было сказать: вору-купцу служат бесчестные люди. От них и призвана полиция очистить общество, в ее это силах. А что может полиция против людей совестливых, порядочных, которые не осознают преступности своих действий? Любые законы, любые установления бессильны. Нужно не карать, а исправлять людское мнение. В задачу полиции это не вменяется.

Действительность такова, что место делает человека вором. Ни сам он себя, ни другие не считают его злоумышленником. Покарай, осуди Захара, его пожалеют, будут ему сочувствовать. Преудивительная мораль! Куда только она нас заведет? В России всегда возникало противоречие между установлениями закона и нравственностью простонародья. С времен Петра Великого предпринимались меры сверху исправить дикие нравы, но все эти попытки были обречены на провал, поскольку не находили отклика и поддержки внизу. И потому так легко благие законы каждый раз обращались в свою противоположность — наносили вред, подкрепляя произвол и без того чинимый властями на местах.

Уже на выходе, мимоходом бросил взгляд в кухонную дверь. Старуха, вовсе уж не такая дряхлая и немощная, как ему представлялось, сидя на лавке, чистила картошку, наполняя большой ведерный чугун. Очистку срезала не экономя, в полпальца толщиной: видно, в стайке водится своя домашняя живность, которой и назначались отходы. Надо полагать, живность содержится в холе, хозяйство доброе, как у большинства среднего городского ремесленного и торгового люда.

Отсюда само собой вытекает, что Захар, как всякий рачительный хозяин, сторонник порядка, воров и бандитов ненавидит люто, если потребуется, постоит за себя. На ночь, небось, топор ставит возле двери, чтоб в случае надобности под рукой был, а то и ружье заряженное держит наготове. Врасплох его не застанешь. А вот, поди ж ты, покрывает воров. Вот уж, воистину, не ведает, что творит. Запросто уживается в его набожной и совестливой душе этакая раздвоенность, которой он даже и не замечает. А что уж говорить про тех, кто, подобно Ивану Артемовичу, заведомо служит дьяволу, притворяясь честными.

С этими мыслями Михаил Павлович вышел из дому, радушно распрощался у калитки с Захаром, питая к нему невольное расположение. Мелькнула мысль: «А не раскрыть ли ему глаза? Ведь не глуп — поймет». Но тут же сам себя и осадил: ведь этим самым поступком он не доброе дело сделает, а пустит Захара и его семью по миру. Потому что такой человек, как Захар, пойми он, что служит злу, от правды уже не отступится, чего бы ему это не стоило.

Возможно, конечно, что Михаил Павлович сам придумал его таким, опираясь не на факты, а на одно лишь воображение, растревоженное идиллической семейной картиной, которой он был случайным наблюдателем.

Правда она и во зло может быть обращена.

Пройти дальше вдоль забора было невозможно: ночная пурга похоронила под глубоким сугробом тротуар и пешеходную тропинку. Нужно идти в обход по санной колее посредине улицы. Недавно взошедшая полная луна озаряла пустынную улицу. Нигде не видно ни души, лишь дворовые собаки суматошным лаем отзывались на скрип шагов. Сугробы искрились, в свете луны отливая малахитовой прозеленью. Дом Федосовой, второй от угла, с виду неказист, особенно в сравнении со своим двухэтажным соседом, принадлежащим лавочнику Журавлеву. Но когда Михаил Павлович приблизился, то понял, что и дом Федосовой не так уж плох: окна высокие, кружевные карнизы из тени проглядывали нечетко, казались не вырезанными из дерева, а отлитыми из чугуна. Ставни, как повсюду, заперты, сквозь щели кое-где пробивался свет. Навряд ли Мирошин завалился в постель в этакую рань.

Михаил Павлович поклацал запором — с той стороны примчался здоровенный пес, передними лапами застучал по калитке, норовя перескочить через нее. Лаял всерьез, злобно. Но только из двери послышался голос хозяйки, кобель замолчал.

Михаил Павлович назвал себя, объяснил, что ему нужен квартирант.

Стылый воздух в сенях отдавал заледенелой прорубью — пахло от невидимой в темноте кадки с водой. Михаил Павлович невзначай задел ведра, висевшие на стене, они простуженно звякнули. Хозяйка, шедшая впереди, отворила дверь, и в свете керосиновой лампы обнажилась внутренность прихожей, бок кухонной печи, занавеска, отгораживающая куть. На полу сплошь настлана разноцветная домотканая дорожка.

Мирошин занимал уютную чистую комнату, окнами выходившую во двор. На ставни их не запирали, в стеклины, разделенные переплетом рам, гляделась густая непроницаемая синь. Из-под высокой кровати виднелся угол обитого жестью сундука, того самого, вызвавшего ехидное замечание у гостиничного полового. На спинку стула накинут мундир околоточного, на деревянном тычке с внутренней стороны двери повешена форменная шинель. Эти немногие предметы, отдающие казармой, чужеродно вторглись в комнату, обставленную на привычный манер не богатых, но состоятельных горожан: были комод, диван, кровать и японская ширма. Последняя, впрочем за ненадобностью, собрана и поставлена в закроватный угол.

Мирошин, по-видимому, отужинав, прилег отдохнуть поверх неразобранной постели. Увидев вошедшего к нему помощника пристава, вскочил и стал на полу босой, в форменных брюках и в домашней кацавейке, надетой поверх нижней рубахи. День-то и у него сегодня выдался хлопотный, суматошный. Да еще переезд, хоть и не дальняя дорога, а все равно сборы, потерянное время.

Лицо очень молодое, несмотря на усы, больше подходящее студенту, нежели околоточному надзирателю. Слишком он моложав, румянен, небось сам мучается от этого, хотел бы выглядеть постарше, посолидней. В не столь уж и давнем прошлом Михаил Павлович сам страдал по такому же поводу. Не подозревает человек, как быстротечна юность, как скоро утрачиваются ее приметы. После и рад бы кое-что возвратить, ан нет. Непроизвольно бросил взгляд в небольшое зеркало, стоявшее поверх комода, увидел свое отражение: лицо хотя и не сильно постаревшее, но явно утратившее обаяние молодости, свою изрядно поредевшую шевелюру. Давно ли нельзя было гребень протащить сквозь вихры, думалось, вечно они останутся густыми, мучайся по утрам, укладывай их, чтобы не топорщились. А скоро и топорщиться нечему будет.

Мирошин слегка растерянно оглядывал себя. Вид у него не такой, каким следует предстать перед начальством, но вместе с тем и нарушения устава не допущено: он у себя в домашней обстановке, а не на службе. Нельзя же все двадцать четыре часа в сутки находиться одетым по форме. Видимо, его тревожила мысль: что за причина привела к нему помощника пристава в неурочный час? Он бы нисколько не удивился, пошли Михаил Павлович за ним городового хоть среди ночи с наказом явиться в полицейскую часть. Визит самого начальника к нему на квартиру сбил его с толку.

— Садись, голубчик, садись, — сказал Михаил Павлович, стремясь мягкостью обращения внушить подчиненному, что у того нет причины тревожиться.

Михаил Павлович скинул шинель, повесил ее поверх шинели надзирателя.

Мирошин тем временем, немного поразмыслив, надел на себя стеганый домашний халат, совсем почти новый. Должно быть, посчитал вовсе уже неприличным для себя облачаться в форму в присутствии постороннего. Сел на стул в почтительной позе. День ему выдался суматошный и хлопотный, он заслужил право на отдых. Но какой же отдых, если к тебе нагрянуло начальство? Молчание, хоть оно и длилось недолго, извело Мирошина, похоже, он все время порывался вскочить на ноги и выструниться и лишь через силу сдерживал себя. Стулья в доме Федосовой с претензией на роскошь, однако хлипкие, непрочные, стоило чуть пошевелиться, нудно скрипели.

— Я пришел выяснить кой-какие подробности конфискации чая в лавке Валежина, — сказал Михаил Павлович, глядя в лицо околоточного надзирателя: сейчас тот меньше всего походил на полицейского — студентик, оробевший перед профессором.

Только он заговорил, Мирошин заки-

вал, заерзал, показывая этим, что все понимает.

— Я не знал, чья лавка, — поспешил он сказать в свое оправдание.

— А если бы знал? — все же от него Михаил Павлович не ожидал столь откровенной угодливости — внутренне покоробило.

— Я бы тогда сначала известил вас.

— Вы поступили правильно, Мирошин! А развел бы канитель, вздумал выяснять да извещать, мошенники тем временем успели бы все перепрятать. Их нужно ловить за руку. Расскажи, как произошло? Что навело на след?

Мирошин подтвердил то, что Михаил Павлович уже слышал от Ивана Артемовича, дополнив кой-какими подробностями.

Повторилась почти та же история, что накануне. Мирошин не помышлял ловить контрабандистов. Ему дали адрес мещанки Федосовой — он давно ищет подходящую комнату, — и он отправился взглянуть, подойдет ли. Шел не один, а в сопровождении городового, который и подсказал ему адрес. Только они вывернули на Дегтяревскую из-за угла, как в конце улицы увидали лошадь, запряженную в сани, идущую навстречу им от Ангары. Мужик, сопровождающий дровни, внезапно всполошился, что есть мочи стегнул коня и пустился бежать в обратную сторону. Зачуяв неладное, полицейские кинулись за ним, но возчика и след простыл. Лошаденка тем временем, немного протрусив вдоль улицы, отвернула к воротам и стала в ожидании. Они осмотрели воз и сразу же обнаружили спрятанные под рухлядью и притрушенные сверху сеном паковки с чаем. Двор, у которого стала лошадь, примыкал к магазину. Направились в лавку. Там в задней комнате старуха и жена сидельца развешивали чай в бумажные картузы. Под подозрение попал и этот чай тоже. Приказчик верно божился, будто сном-духом не ведает, чья лошадь подвернула к его воротам. Пытался сбить Мирошина с толку:

— Известное дело, без хозяина конь завернет куда поближе.

Но и околоточный не лыком шит, резонно возразил:

— Не менее того известно, что конь дорогу знает: поди, не раз бывал тут.

Приказчик руками и ногами открещивался и от лошади и от воза, в котором спрятан чай.

Чай, который обнаружил в беспризорных санях и тот, что конфисковали в лавке, взвешали и передали в таможню.

— Я не знал, что Валежин приходится вам родственником, — вторично напомнил Мирошин: видимо, он не очень-то уверовал в искренность помощника пристава, который недавно похвалил его за проявленное усердие.

Вот и попробуй искоренить контрабанду, если не один Мирошин, а буквально все от городового до полицмейстера так и поступают: напав на след преступника, вначале выясняют, не приходится ли он родственником кому-либо из начальства, и только после этого действуют сообразно обстоятельствам: наказывают по всей строгости закона или идут на любую поблажку.

Теперь уже решительно никаких сомнений не осталось: Валежин связан с контрабандистами, действует нагло, без зазрения совести. Неужто он и впрямь рассчитывает на заступничество шурина? По всей видимости, занимается преступным промыслом давно. Вот ведь, поди ж ты! В голову не приходило заподозрить. Вид у него вполне благообразный. Помнится, впервые увидев изображение картины Тициана, Михаил Павлович подумал: до чего же его зять Иван Артемович похож на тициановского Христа. Только у Христа на картине волосы длинные, распущенные на плечи, а у Ивана Артемовича подстрижены и прибраны. И борода у него поаккуратней. А в остальном сходство несомненное.

«И тут тоже обман!» — возвратился он к мысли, пришедшей ему днем, когда он случайно встретился с Василисой.

Внешность Христа, а души и в помине нет! Невозможно представить, чтобы у существа, наделенного душой, могли возникнуть мысли, какие высказывает Иван Артемович. Дьявол ему их нашептывает? Так почему же он другим не нашептывает? Скажем, вот ему — Мирошину — или тому же Захару, сидельцу из лавки Валежина. Выбрал зятя Михаила Павловича, ему нашептывает.

«А может быть, тому и нашептывает

дьявол, кто лучше способен его услышать!»

Мысленно Михаил Павлович разделял всех людей на три категории. Самая многочисленная — люди, совершенно не интересующиеся высшим смыслом жизни, озабоченные лишь тем, как бы получше использовать отпущенные им дни, успеть насладиться. Хотят прожить свою жизнь в благополучии, и только. Другой цели не знают. Одни из них преуспевают, другие не очень. И те и другие не бывают счастливы вполне, поскольку представление о благополучии не имеет пределов, всегда есть повод завидовать кому-либо, более удачливому. А когда человека одолевает зависть, говорить о счастье не приходится.

Другие — к их числу Михаил Павлович относил Пригодина и ему подобных, а теперь вот присовокупил своего зятя — разрушители основ. Если первые приспосабливаются к условиям, какие уже есть, эти стремятся разрушить, чтобы наступивший хаос использовать себе во благо. Верно, под благом они не обязательно понимают богатство и достаток — это может быть почет, известность, слава. Богатству отводят второстепенную роль. Если, разумеется, богатство само по себе не служит целью для достижения славы. Можно ведь прославиться и за счет богатства.

И наконец, третья категория — в нее он зачислял и себя — люди особые, избранные. Да, да — избранные! Только не по знатности рода, а по духовности. Люди, от природы наделенные высшей духовностью, мучимые одной всепоглощающей страстью — познать смысл жизни: есть ли он? в чем состоит? Страсть эту невозможно насытить: никакие блага не заменят истины. Однако вовсе это не означает, что эти люди беспорочны. Да, святые, несомненно, были из их числа. Но и еретики тоже. Поиск истины порождает сомнения, сомнения расшатывают устои. Последнее редко идет на пользу. Но и этот, последний вывод тоже сомнителен. Сказать на пользу или во вред можно, лишь зная конечную истину — смысл жизни. Поэтому в данном случае слова «польза» и «вред» употреблены им в обиходном значении, как их понимает большинство.

Мысли эти у него зародились давно, едва ли не в гимназическую пору. Но чем больше он задумывался, тем больше путаницы возникало в уме. Получалось, что между второй и третьей категориями различие не столь уж и существенное, если судить по результату воздействия на общество: те и другие — разрушители основопорядка. Ищущие истину и есть первые возмутители покоя: своими сомнениями они совращают неискушенные умы. Поиск конечной истины, по-видимому, занятие безнадежное. Тысячи лет лучшие человеческие умы — или же те, кого принято называть лучшими умами — искали, а к цели не приблизились. Однако люди, отдающие этому занятию все свои силы и жизнь без остатка, никогда не переводились. Симпатию вызывает то, что поступали они всегда бескорыстно. Если кому и случалось прославиться при жизни, так совершалось это без малейшего старания с его стороны. Тщеславием подобные люди никогда не руководились.

Михаил Павлович сознавал, что, размышляя так, он совершает отступничество с позиции верующего. Высший смысл жизни религией определен, думать, искать что-то другое — ересь. Но избавиться от мучивших его раздумий был не в силах.

Мирошина он оставил в недоумении: тот так и не понял, зачем же к нему наведывался помощник пристава.

На улице было тихо и глухо, будто не вечер наступил, а стояла уже глубокая ночь. Луна, повисшая над Иерусалимским кладбищем, немо взирала на опустевшие улицы. Густые тени от домов и заборов ложились на позлащенные ее светом сугробы. Пронзительно, на весь околоток скрипел снег под его сапогами.

Внезапно он остановился, насторожил слух. Сквозь отдаленный собачий перебрёх услышал голоса, звучащие неподалеку. Улица была пустынна, разговаривали, по-видимому, в соседнем дворе. Что же его насторожило? В том, что, выйдя из дому до ветру, люди разговаривали, не было ничего примечательного. Но уже в следующий миг он уяснил причину своей тревоги. Голос одного из говоривших знаком ему. Только он давно не слышал его и думал, никогда не услышит. Во всяком случае, не при та-

ких обстоятельствах. И вовсе не по другую сторону ограды, не во дворе находился человек, а стоял возле калитки, едва различимый в ее тени. Из-за калитки ему отвечал Захар Пьянков, с которым Михаил Павлович расстался едва ли более четверти часу назад. Сколь не претил ему подобный способ выведывать чужие тайны, на сей раз Михаил Павлович затаился, притих. Основания заподозрить неладное у него были. Что-то же привело этого типа сюда, неспроста он появился. Разговаривали вполголоса, но стылый воздух обладал поразительным свойством доносить самые негромкие звуки.

— Иван Артемович вернется не скоро. Раньше утра не будет, — видимо, отвечая на вопрос, сказал Захар.

— Влипли, стало быть, — в голосе Виктора Пригодина слышалось нескрываемое злорадство. — Следы заметает.

— Ошибка случилась. После разберутся.

— Мне-то у тебя какой резон брехать? Я в полиции не служу.

— А вот, где ты служишь, не знаю и знать не хочу, — отрезал приказчик.

— Разве хозяин твой ничего не наказывал передать?

— Не наказывал.

— И он тоже голову потерял со страху. Этак вас всех как мух прихлопнут.

— Недосуг мне лясы точить, да и не место.

— Ну так пусти в лавку — там дождусь Валежина. Не навек же он укатил — вернется.

— В лавку не пущу. А в избе места нет: дети и матушка почивают.

— Так-то гостей принимаешь?

— Я тебя в гости не зазывал.

— Гляди, пожалеешь!

По ту сторону калитки больше не отвечали, шаги Захара раздались на крыльце. Негромко угрожая, заурчал кобель.

Виктор Пригодин, перешагивая через сугроб, выбрался на середину улицы, торопясь, направился к центру. Поднял воротник, голову втянул в плечи: мороз давал о себе знать. Скрип собственных шагов мешал ему услышать идущего позади него помощника пристава.

У Михаила Павловича не было времени выслеживать, тем паче преследовать Пригодина. То, что случайно открылось ему, было неожиданным. Странный альянс между купцом-контрабандистом и горе-карбонарием, брехуном и авантюристом озадачил его. Что же их связывало?

Минуты полторы они шли так, выдерживая расстояние шагов в тридцать. Выйдя на перекресток, Пригодин обернулся. Увидя позади себя фигуру полицейского, неожиданно отвернул направо и что есть мочи припустил вдоль по Почтамтской. Первым порывом было погнаться следом за беглецом, но Михаил Павлович не сделал этого. Собственно, в чем провинился Пригодин перед законом, чтобы его преследовать? Не было к этому ни малейшего повода.

Уже подходя к своему дому, он вдруг с тревогой подумал: в той стороне, куда убегал Пригодин, находится дом купца Валежина. А в том доме живет его сестра и племянники.

Теперь эта мысль не даст ему спокойно уснуть. Но он и не предполагал в это мгновение, насколько беспокойная и тревожная ночь предстояла ему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Елене Павловне опять не спалось. Уже близилось к полночи, а она не сомкнула глаз. Хоть Иван Артемович и предупредил, чтобы его не ждали до утра, она не поверила ему и боялась пропустить, когда послышится звук возвратившейся кошевки и Никифор пойдет отворять ворота. Его шаги и кашель она непременно услышит. Это когда не прислушиваешься, так ничего и не слышишь. Раньше она не подозревала, как много различных звуков бывает посреди ночи, считала, что с наступлением темноты воцаряется тишина.

Все же она уже начала задремывать, когда до ее слуха наконец-то донесся скрип отворяемых ворот. Скрип показался тревожным и мгновенно прогнал сон. До чего же истошно-жалобно взвизгивает скособочившийся древний створ,

точно жалуется на свою горькую долю: опять его силой волокут по борозде, промятой в снегу. Нетерпеливо ступали лошадиные копыта, с легким шорохом прокатились по колее санные полозья, потом раздались гулкие барабанные удары, то жеребчик ступил под навес на деревянный настил. Кто-то негромко разговаривал, перекрывая другие голоса, выделились слова, произнесенные Иваном Артемовичем:

— В этакую пору! Другого времени не нашел?

В ответ Никифор пробормотал:

— Так Виктор Семенович... — остальное оборвал звук захлопнувшейся двери.

Похоже, что после этого во дворе не осталось никого, только в завозне раздавался негромкий переступ и неразборчивый голос: кучер распрягал жеребца и разговаривал с ним.

«Кто такой Виктор Семенович? Почему это имя знакомо ей?»

И тут же вспомнила: Виктор Семенович Пригодин! В кругу, где она в прежнее время встречалась с ним, не принято было называть друг друга полным именем, но знать-то его отчество она знала. Кто и почему вспомнил про него в столь неожиданное время?

Что-то подозрительно медлил Иван Артемович, не поднимался наверх в покои. Какие неотложные дела задержали его внизу? О чем он может разговаривать с Виктором Пригодиным? Два дня назад ей бы и в голову не пришло подобной мысли — сама встреча Ивана Артемовича и Пригодина показалась бы невозможной. Но уж коли он связался с контрабандистами...

Елена Павловна поднялась, надела халат, обулась в мягкие домашние туфли. Действовала не спеша, размеренно, еще не совсем уверенная, что исполнит задуманное. В доме тихо. Светится лампадка, по углам затаились неразличимые призраки, живущие своей особенной жизнью только в ночную пору, когда обитатели дома спят. Не сильный, сладостный страх, какой она испытывала лишь в давнем детстве, заставил трепетать ее сердце. Снимая ключ с притолоки, ощутила укол совести, но тут же заглушила его: разве не сам Иван Артемович позволил ей пользоваться ключом, когда ей вздумается, и указал тайник, где его прячет. При этом он не оговаривал время суток.

В каморке, где и днем-то никогда не бывает достаточно светло, двигаться приходилось на ощупь. Зажечь свечу она не решилась. Наконец, отыскала ручку дверцы, встроенной в стену. Как и тогда, она отворилась с протяжным лязгом. Тленом и застоялым воздухом дохнуло на нее из слухового колодца. Некоторое время ей ничего не было слышно, и она хотела уже запереть створку и поскорее вернуться в спальню: вдруг Иван Артемович в это время как раз поднимается наверх и застигнет ее на месте преступления. Но вот донеслись первые слова, произнесенные мужем:

— Очень занятно, — сказал он. По интонации уловила насмешку.

— Подобной щепетильности не ожидали. От вас, во всяком случае. — Голос принадлежал Виктору Пригодину.

Иван Артемович и Пригодин обменивались колкостями.

— Не ждали? — на этот раз Иван Артемович говорил с неприязнью и злобой. — Они что же считают меня своим данником? Думают, Валежина можно потрошить?

— Так уж и потрошить, — видимо, с ухмылкой проговорил Виктор. — С тебя меньше трети прибытка берут — по-хорошему, половину надо.

— Да вы считать-то умеете ли?

— Умеем. В университетах учились.

— Значит, арифметику освоили? Ну так посчитайте, сколько я за последние два дня потерял. Впору не прибыли подсчитывать, а убытки.

— Убытки? Может, тебе суму подарить — по миру пойдешь побираться.

— Да с тобой что толковать: ты же ни бельмеса не понимаешь! У вас что, нет кого поумней послать? Кому бы объяснить можно было?

— Умней нет! Вот что я тебе посоветую, — меняя насмешливую интонацию на жесткую и властную, словно цедя слова сквозь зубы, проговорил Виктор. — Твое право считать, умный я или не умный, а заплатить обязан.

— Тебе? Не заплачу! А вот милостыню подам, если попросишь.

Надолго установилось молчание. Но теперь Елена Павловна не опасалась внезапного появления супруга наверху, зна-

ла, оба они сейчас там, впились друг в друга ненавидящими глазами.

— Сам одумаешься, — первым заговорил Виктор,— следом побежишь.

— Не собачка — не побегу. Не дождешься.

Что-то там звякнуло негромко, в пустоте конторы раздались гулкие шаги. Елена Павловна собралась затворить шкаф, подумала: сейчас они расстанутся, и муж поднимется наверх. Но вновь услышала голос Пригодина:

— Добром советую: не разводи канитель. Не усложняй дела. За мной уже и без того следят.

— Да за тобой как не будут следить? Тебе же неймется — на виду хочешь быть. Неужели у вас все такие? Господи, с кем меня бес попутал! С какими пентюхами связался.

— То-то что — связался. Потому и предупреждаю: не разводи канитель. Мы теперь одной веревочкой повязаны. Просто ее не развяжешь. Не глянется тебе посыльный, предупрежу — в следующий раз направят другого. А сейчас не мути дела. Шутки шутить с тобой не будут.

— Ничуть меня не печалят ваши дела. Хоть завтра все прогорите!

— Так ведь сообща погорим. В кандалы, может быть, и не закуют, а вот в одной камере точно свидимся. Тогда уже и потолкуем. А сейчас недосуг. Не хочешь диспута в тюремной камере, так заплати, как условлено. А больше, обещаю, оставят тебя в покое. Нам тоже не с руки с капризными иметь дело. Найдем, кто меньше чванлив.

— Я ваши обещания ни в грош не ставлю.

— Это почему вдруг? Или не сделали тебе, чего обещали — не снабжали тебя контрабандой, не свели, с кем надо?

— Не верю,— упрямо стоял на своем Иван Артемович.— Теперь тем более. Знай я раньше, что у вас подвизаются такие, как ты, за версту бы обошел.

— Ну вот,— нервно рассмеялся Виктор.— Нельзя же из-за ревности...

— Мне и прежде-то, — прервал его Иван Артемович,— в голову не приходило ревновать к тебе. К неудачникам не ревнуют. Ты — неудачник! Оттого и зачислил себя в революционеры — думал там отыграться. Ан, нет! Ты же — вечный неудачник.

— Тоже мне... психолог. Нам бы с тобой не тут беседовать.

— Так выйдем. Хоть на Ангару. Кстати, у меня и пистолеты есть. Настоящие, дуэльные, из таких еще во времена Лермонтова стрелялись. Даю слово, не промахнусь, хоть и нет навыка!

— Дуэль предлагаешь? — рассмеялся Виктор этаким мерзким, ехидным смешком, от которого Елену Павловну покоробило: точно так иногда смеется Иван Артемович.

— Дешево же ты хочешь отделаться. Да если бы мы и вышли с тобой на лед, как два идиота, и ты бы укокошил меня из своего антикварного пистолета, так денежки с тебя все равно спросят. Будешь артачиться — в полиции станет обо всем известно. Ты ведь не мальчик, знал, на что шел. Лишнего с тебя не просят — только долю с дохода, который тебе же помогают получить.

— Я без вашего посредства доходами не обижен.

— Зачем же впутался?

— Ты в карты играешь?

— Избавил бог.

— Тогда тебе не понять.

— Нервы пощекотать захотелось?

— Ничего ты не понял! Думаешь, риск в том только — попался не попался?— теперь уже Иван Артемович смеялся приторно-ехидным смехом.

— Ну что ж. Своего ты достигнешь — нервы тебе пощекочут. Это я обещаю!— Пригодин цедил слова сквозь зубы, а Иван Артемович продолжал заливаться почти беззвучным смехом.

— Вон! — выкрик был столь неожиданным, что поначалу Елена Павловна не узнала голос мужа: подумала, кто-то там у них появился третий.

Опять гулко прозвучали шаги, и скрипнула отворяемая дверь. Должно быть, Виктор на мгновение задержался:

— Пожалеешь, Ванечка. Еще как пожалеешь,— издали донеслись его слова, и дверь захлопнулась.

— Врет, все как есть врет,— бормотал Иван Артемович, зачем-то выдвигая столешницу: слышно было, как она стучала.— Нету других. Нету! Кто бы стал с таким дураком путаться.

Быстрые шаги Ивана Артемовича встрепенули Елену Павловну: она поспешно затворила шкаф, вышла из каморки и скрылась у себя в спальне. И только тут вспомнила, что забыла запереть замок и положить ключ на место: он так и торчит в замочной скважине. Но возвращаться не стала.

Время текло, а муж все не поднимался наверх. Сердце у Елены Павловны давно перестало стучать от возбуждения, и все звуки в доме она слышала отчетливо.

Неизвестно, сколько прошло времени, — ей казалось, вечность, — наверху по-прежнему было тихо. Елена Павловна вторично поднялась с постели. В каморке все осталось нетронутым: не плотно прикрытая дверь, ключ, торчащий из замка. Она машинально заперла и положила ключ в тайник на притолоку.

Подошла к спальне мужа, прислушалась: оттуда ни звука. Открыла дверь. И, хотя ей уже было ясно, что мужа нет, она все же вошла, ощупала постель, удостоверилась — пусто.

Вспомнила последние слова, лихорадочно произносимые Иваном Артемовичем, когда он рылся в столешнице. Внезапно догадка озарила ее.

Она негромко вскрикнула и едва не упала в обморок.

Наверное, суть подслушанного разговора во многом осталась бы для нее тайной, если бы ей не вспомнились давние рассуждения Виктора, его теория действия. Это он сам называл так свою сумасбродную идею. Мечты о новом обществе, в котором все люди будут счастливы, останутся утопией, если... если не приложить усилий, не начать действовать. Действовать не когда-то в будущем, а сейчас — сегодня. Его план фантастически прост. Террор! Нет, не такой, как у народников. Их террор не может дать результата. Они охотятся только на царя, на представителей самодержавия. Усилий затрачивают много, а результат мизерный. Даже и убив царя, ничего не достигли. Террор должен быть всеобщим, нацеленным не против кого-то, а просто — террор! Необходимо вызвать всеобщую панику, хаос. Когда люди теряют голову, они становятся неуправляемы. Ни полиция, ни армия не в состоянии будут поддерживать порядок. Власть станет бессильна. Ясность и трезвость ума сохранят лишь сами организаторы террора, поскольку им ведома причина хаоса и нити управления обстановкой находятся в их руках. Они и захватят власть. Вопрос, как организовать массовый террор, Виктор разрешил так: привлечь уголовников — людей, наиболее сподручных для такой цели. Обучать их не нужно — обучены. Им даже и переквалифицироваться не потребуется — займутся привычным делом. Единственное условие для них: будут действовать по указке, подчиняясь центру. Нужны деньги, большие деньги, чтобы купить их, массу уголовников. Что их можно купить, в этом никакого сомнения: по своей нравственной сути они самые продажные люди. Но платить надо хорошо. Вопрос упирался в то, где добыть деньги, заполучить хотя бы начальный капитал. И эту проблему Виктор разрешил. Деньги даст купечество. А кто еще может дать деньги? Только они — самая состоятельная часть населения. Добровольно не дадут. Брать силой, обманом, хитростью, устрашая, запугивая, терроризируя, с помощью все тех же уголовников.

Уголовники же на первых порах помогут удержать власть. Ради этого раздать им руководящие посты в новой полиции.

А потом, когда власть утвердится прочная и незыблемая, начинать строить общество по образцу классических утопий, подновляя и перестраивая их по ходу дела.

Весь этот дикий бред в ту пору она воспринимала без протеста. Не потому, что согласна была с жестокостью, которая содержалась в планах,— не замечала жестокости. Воображение перескакивало через террор и хаос, о котором шла речь, и устремлялось в будущее, где рисовалось идеальное общество счастливых людей.

«Господи! Да неужели же это была я? Как же я могла слушать весь этот бред и не возмутиться, не протестовать?»

Воспоминания и мысли мелькали у нее в голове с непостижимой быстротой,

а сама она тем временем бежала по ночным, пустынным улицам к дому, где жил брат. Угловое окошко, запертое на ставень, вело в его спальню. По нему она и начала барабанить изо всей силы, как будто надеясь силой ударов предотвратить беду.

Михаил Павлович еще не ложился. Ему не нужно было объяснять подробностей: он сразу поверил — случилось нечто ужасное, едва только увидел сестру.

— Он замыслил убийство,— только и смогла произнести она.

Мороз был трескучий, обычный в конце зимы, когда днем уже бывает оттепель. Воздух сделался шершавым от мороза, казалось, им можно подавиться, если невзначай глотнуть ртом.

— Лёна, ради бога, укройся шалью, дыши только через нее. Тебе опасно.

За себя он не беспокоился: с этого мгновения собственная жизнь и здоровье совершенно утратили цену для него — думал только о ней.

Удивляла тишина, город спал, облитый лунным светом, красуясь синими и золотистыми сугробами, которые искрились крохотными, призрачными звездами.

Заспанный Никифор отворил калитку, сообщил, что Иван Артемович еще не возвратился.

— Я знаю, где он. — Михаил Павлович был убежден: искать Ивана Артемовича нужно в доме на окраине глазковского предместья. Лишь когда они вышли на берег, ему пришла здравая мысль: сестре не следует идти с ним. Будет даже неприлично выглядеть, как будто она затем и бежала среди ночи через город, чтобы застать своего неверного супруга в постели у любовницы.

— Лена, тебе нужно вернуться. Туда нельзя! Я провожу тебя.

Перед ними лежала Ангара в ледовых торосах, озаренная луной. Луна уже прошла большую половину небосвода, висела над Кайской горой, светя им в лицо. Некоторое время они препирались, стоя наверху откоса. В лунном свете хорошо просматривалось начало санной колеи, проложенной через взторошенную реку. Позади ледяной пустыни на другом берегу виднелись ближние строения, дальше них склон горы выглядел пустынным. Обочь санной дороги с крутизны сбегала пешая тропа, ведущая к проруби. Она была здесь не круглой, а продолговатой. Зимой, когда вода подступала к самому срезу, бабы в ней полоскали белье. Михаил Павлович всегда поражался их выносливости. Руки у них терпли от ледяной воды, время от времени они прерывались, отогревали их собственным дыханием, кутали в концы пуховой шали и снова принимались за свое каторжное занятие.

Внимание Михаила Павловича привлек крупный предмет, чернеющий поверх льда в нескольких шагах от проруби. Вначале он бегло скользнул по нему взглядом, но затем встревоженно возвратился к нему.

Теперь ему уже и вовсе нужно было немедленно увести сестру дальше от берега, раньше чем и она увидит мертвое тело. Почему-то он сразу решил — мертвое. Но было поздно.

— Что это!?

Лучше было не подпускать ее к трупу, но для этого пришлось бы употребить силу.

Труп лежал навзничь, голова была откинута назад так, что клинышек бороды торчал кверху. В убитом оба сразу опознали Виктора Пригодина. И что мертв, почти окоченел — тоже очевидно: незрячие остекленелые глаза и поза, в которой лежал, говорили за себя. На припорошенном льду немного в стороне от места, где лежал труп, натекла кровь. В лунном свете она поначалу показалась не красной, а зеленой и фиолетовой. Уже потом он заставил себя увидеть кровь алой.

Елена Павловна вскрикнула, он подхватил ее, не дал упасть, помог взойти на берег. Сестра подчинялась ему, не сопротивляясь. В молчании дошли до дому. Михаил Павлович разбудил прислугу, велел поднять Пахомку и послать за доктором. Глаше наказал не отлучаться, ни на секунду не оставлять Елену Павловну одну. Девка насилу продрала глаза, но увидев, в каком состоянии находится барыня, тотчас очухалась, жадным, нетерпеливым любопытством зажглись ее глаза. Теперь уж, если и позволить, не

заснет, пока не проведает, что случилось.

Пришлось поднять еще конторщика, который с семьей занимал крохотную жилую пристройку к лабазу в глубине двора. Михаил Павлович черкнул несколько слов и велел ему отнести записку в полицейскую часть. Глашиного любопытства, сколько та не вилась вокруг него, не заглядывала ему в лицо, он не удовлетворил.

Собрался было пойти к Мирошину, но раздумал. Набережная улица по-прежнему оставалась безлюдной. Сон иркутских обывателей не был еще потревожен. Молчали и дворовые собаки, прячась от лютого холода в конурах. Луна опустилась еще ниже, равнодушно лила мертвенный свет на ледовое поле, там и сям стеклянно взблескивали расколы торосов, не припорошенные снегом. Покрытые густым инеем кущи тальника на острове бусыми клубами светлели над береговыми проталинами.

Теперь ему никто не мешал. Он не спеша обошел вокруг места, где лежал труп и где растеклась кровь. Смерть настигла Пригодина мгновенно в том месте, где осталось кровавое пятно. Убийца волочил его к проруби и почему-то не исполнил задуманного до конца, оставил труп в нескольких шагах от ее края. Слышалось, как там, в подледной темноте, ровно шумела текущая вода.

Невдалеке, меж торосами почудился металлический взблеск. Михаил Павлович подошел ближе и увидел нож. Нельзя было уверенно сказать, есть на нем кровь или нет. Михаил Павлович обернул лезвие носовым платком и спрятал находку в карман. Если нож запачкан в крови, она растает и может запачкать подкладку. Лучше пожертвовать носовым платком.

Теперь нужно было проверить, что находится в карманах убитого. Ничего особенного не обнаружил: носовой платок, портсигар и небольшую записную книжку в изящном кожаном переплете, к которому на торце приделан футляр для карандаша. Он пролистнул книжку, в ней были какие-то записи, которых при лунном свете невозможно прочесть. Книжку он также положил себе в карман.

За пазухой у убитого в нагрудном кармане обнаружил заряженный револьвер. Находка наводила на размышления: Виктор Пригодин был вооружен, а тем не менее позволил убийце приблизиться и нанести удар ножом. Не ожидал подобного исхода.

* * *

Привычка подниматься чуть свет взяла свое. Навряд ли он спал больше двух часов. Но делать нечего: недосуг ему сегодня нежиться в постели.

По обыкновению выпил утреннюю чашку крепкого чая со сливками. На этот раз чай не взбодрил его. То была не усталость. Он и в обычные дни спал помалу и никогда не мучился от этого: достаточно было ему выпить утренний чай, как необходимая бодрость возвращалась к нему. Нет, не физическая усталость угнетала его. В его жизни это была не первая бессонная ночь. Прежде в подобных случаях у него удваивалась энергия: утром его охватывало нетерпение, хотелось действовать. Сегодня он непроизвольно тянул время.

Да, собственно, и некуда было сейчас приложить энергию, будь она у него: дело ясное. Преступник известен, изобличить его задача не сложная. Остальное: установить мотивы убийства и степень виновности — не входит в задачу полиции.

Вспомнил про нож, подобранный на льду. Немного даже испугался: мог ведь выронить невзначай. Вчера эпизод с находкой ножа каким-то непостижимым образом выпал из памяти. Будто затмение нашло. Очень странное, необъяснимое затмение. Нож, может быть, главная улика. Все остальное можно опровергнуть, объяснить стечением обстоятельств...

Находка лежала в кармане шинели. Платок, которым он обернул нож, присохнул к лезвию, запачкался в крови. На металле крови не осталось, вся впиталась в ткань, только на рукоятке немного присохло. Рукоятка из черного дерева, резная, с мелкой насечкой, кровь залипла в пазах. Вчера Михаил Павлович не ошибся, нож знаком ему, хотя опознать его в темноте было трудно, да

он и не разглядывал. С одной стороны на лезвии у основания клинка, в обрамлении узорчатого рисунка изображена сельская церквушка на берегу пруда, на другой стороне наискось с изгибом надпись: «Златоустъ». Тот самый охотничий нож, которым Иван Артемович не однажды похвалялся, заявляя, что хотя он и не любитель, а все необходимые принадлежности для охоты у него имеются: по случаю приобрел охотничье снаряжение. До сих пор оно служило ему только лишь как украшение. Второго такого ножа в Иркутске навряд ли сыщешь — штучная работа.

Окровавленный платок Михаил Павлович выбросил в помойное ведро, предварительно испачкав сапожным кремом. Нож вымыл под рукомойником, потом долго, трижды намыливая руки, умывался, не жалея воды. Еще и одеколоном протер пальцы и почистил под ногтями.

Не найдя подходящей тряпицы, завернул нож в кожаный лафтак, который у него остался с прошлого года, когда ему чинили седло, и хранился в столе не столько для возможной надобности, сколько по забывчивости. Насколько он помнит, ножны к охотничьему ножу были деревянные, с оковкой из серебра.

Обвязав кожаную укладку тесьмой, чтобы не развернулась, положил свой трофей обратно в карман шинели. Он еще не решил, как ему поступить.

Вначале нужно было навестить сестру. После уже наведаться в часть, заняться делами.

Город неузнаваемо переменился. Вернее сказать, у Михаила Павловича возникло такое чувство — город переменился. А что именно переменилось, он не смог бы сказать. Во всяком случае, глазом этого не заметишь. Никогда прежде не улавливал он сытного запаха из пекарни Митиных, смешанного с приторной вонью из прачечной мадам Кухляевой — непереносимая смесь. Да еще сюда же накладывалась гарь из трубы дома Медведевых. Черт знает что они там жгут! Все эти разные запахи то смешивались, то достигали обоняния Михаила Павловича каждый раздельно. Под ногами похрустывало не столь громко как накануне, без истошного визга. Но было холодно и ветрено. Ветер врывался в лабиринты дворов и улиц с Ангары, взвихривал редкий мусор и снежную пыль, вылизывал затверделые сугробы и зеркально оглаженную колею посреди улицы. Кажется, никогда прежде он не замечал в Иркутске такой погоды: не весна еще, но и не зима уже.

В знакомом обличье домов и заборов неожиданно проглянула, не замечаемая прежде, душа города. И была она на редкость неровной, пестрой, как душа раскаявшегося грешника — ничто еще в ней не определилось окончательно. Уж куда как привычный глазу дом Валежиных предстал чуждым, словно увиденный впервые. Поразило несоответствие его ссотавных частей: боковая, выходящая во двор бревенчатая стена с угрюмыми кирпичными выступами не увязывалась в одно целое с нарочито игривой формой парадного крыльца, бесстыдно выпятившегося в улицу, отняв большую половину тротуара.

Поэтому ему удивительно было встретить в прихожей обрадованно улыбающуюся Глашу: девка вела себя так, как будто ничего не произошло, как будто особняк Валежиных продолжал жить своей обычной жизнью. Приняла у него шинель и папаху, торопливо горячим полушепотом известила, что Иван Артемович дома, внизу, вернулся только утром, отлучался по делам, Елена Павловна в детской с няней и малышами, как всегда в это время.

Вот эта обычность происходящего более всего и ошеломила Михаила Павловича. Зачем же он торопился сюда, а не направился в часть, где ему надлежало сейчас находиться?

В зале пусто, дверь в бутафорный кабинет хозяина чуть приотворена. Михаил Павлович машинально шагнул туда. Кабинет бестрепетно принял его в свою чинную обстановку присутственного места. Единственное, что отличало его от казенной конторы, так это два семейных портрета. В конторах тоже случаются портреты, однако ж не такие. Впрочем, разница не очень и велика. Стол, стулья подле него будто застыли в ожидании хозяина и посетителей.

Михаил Павлович машинально обошел вокруг стола, как бы примериваясь, на который из стульев ему сесть. За

дверью раздались шаги, по звуку узнал своего зятя. Иван Артемович, по-видимому предупрежденный Глашей, не высказал удивления, застав гостя. Михаил Павлович, не скрывая любопытства, пристально наблюдал за ним. Пожалуй, даже до неприличия пристально. Ничего особенного, никаких чувств, подобающих человеку, несколько часов назад совершившему убийство и проведшему ночь в постели любовницы, не отразилось на лице Валежина. Улыбка показывала радушие, слова произнес обычные:

— Рад видеть.

Прежде Михаил Павлович всегда отвечал:

— Я так же.

На этот раз медлил. И даже затянувшаяся пауза, похоже, ничуть не насторожила, не обеспокоила Ивана Артемовича.

— Так уж и рад? — усмехнулся Михаил Павлович, не отводя глаз от лица зятя.

— Видит бог.

Лицо вроде бы безмятежное, но взгляд настороженный, бегающий, глянул на Михаила Павловича и тут же отвел глаза, сделал вид, будто его внимание привлекли карты, разбросанные на столе. Они так и лежали со вчерашнего, своей неуместностью искажая чинную обстановку кабинета.

— Это я вчера раскладывал пасьянс. Интересная комбинация выпала. Просил Глашу не трогать. Ты уж ее извини — моя вина. Зайти вторично, закончить расклад позабыл.

— Сроду не раскладывал пасьянсов. Кроме как игры на деньги, не признаю карт. Баловство. А на деньги играешь — риск, азарт, смелость. Смелому бог помогает.

— Как знать. Не во всякой поговорке правда.

— Вот как ты о народной мудрости. Свысока?

— Народ из людей состоит. Люди разные — встречаются и людишки. Одним поговорка люба, другим претит. Да полно! — оборвал он себя. — Разве об этом должна сейчас голова болеть?

— Да моей вроде бы не с чего болеть, — деланно рассмеялся Иван Артемович.— Давно не прикладывался. Это у вас сегодня, слышал я, большие хлопоты?

«Неужто и в самом деле с него как с гуся вода?»

Пристально впился глазами в Ивана Артемовича. С долей злорадства подумал: «Болит, болит у тебя головка. Притворяешься, что не болит! Вон как глаза прячешь, в лицо не взглянешь. Не такой уж ты железный, каким хотел бы представиться самому себе».

Вспомнил про нож, оставленный в кармане шинели.

— У кого-то и помимо нас болит головка. Должна болеть!

— Загадками говоришь. У кого же?

— Неужто непонятно у кого? У того, кто убил Пригодина.

— Ну... Его ведь сначала изловить надо. Потом доказать, что он убил. Думаете, сам придет и сознается?

— Бывало и так. Редко, верно. Здесь не такой случай. Уж больно хладнокровно убил. Пригодин до самого последнего момента не заподозрил убийцу.

— А это откуда известно?

— У убитого в кармане заряженный револьвер был. Заподозри неладное, так не дал бы приблизиться. Чтобы убить ножом, надо рядом стоять.

— Заряженный револьвер...— пробормотал Иван Артемович.

Михаил Павлович изучающе смотрел на него: какая-то мысль не давала Ивану Артемовичу покоя.

— Заряженный револьвер,— повторил он сомнамбулически.

— Да, да — заряженный. Во внутреннем кармане. Достать его — секундное дело. Револьвер все же надежней ножа, хотя бы и самой искуснейшей выделки, штучной работы.

Взгляд Ивана Артемовича на мгновение скрестился со взглядом шурина. Похоже было, какие-то слова вертелись у него на языке, но он так и не произнес их. Отвел глаза.

— Ты погоди, не уходи. Через секунду вернусь,— предупредил Михаил Павлович.— Вещицу одну занятную покажу.

В прихожей никого не было. Быстро извлек из кармана нож, обернутый в кожаный лоскут. Иван Артемович ждал его на прежнем месте, завороженно глядел на Михаила Павловича.

— Должна у злоумышленника болеть голова,— добивал его тот. — Нож, на весь город другого такого не сыщешь. Улика!

— Так полицейские нашли нож! — вдруг встрепенулся Иван Артемович. Ожившим взглядом уставился на руки Михаила Павловича.

Прежде чем развязать тесьму, Михаил Павлович рукавом мундира сдвинул карты на край стола. Нож выпал из свертка. Лоскут, оставшийся в руках, Михаил Павлович скомкал и швырнул в мусорную корзину под стол.

— Где его нашли? — негромко, чуть ли не шепотом спросил Иван Артемович.

Сейчас только Михаил Павлович как следует пригляделся к нему, до этого замечал одни глаза. Против обыкновения борода была причесана неаккуратно, топорщилась на одну сторону. И то, что он был в домашнем халате, небрежно подпоясанном, эти, хоть и незначительные, отклонения невольно разрушали привычный облик внешности — не таким Михаил Павлович видел его прежде.

— Между торосами, в трех шагах от тела нашли. Может, убийца хотел в прорубь бросить, да промахнулся.

— Невзначай выскользнул из руки. Я хотел обтереть, а он выскользнул. Как раз почудилось — булькнуло в проруби. Подумал — нож.

С минуту оба молчали. Потом Иван Артемович осторожно потянулся к рукоятке, тронул ее кончиками пальцев, но взять не решился.

— Он, когда говорил со мной, руку держал за пазухой. Я думал, пальцы отогревает: у него на правой руке не было перчатки.

— Перчатку снял, без перчатки удобней. Ему проще было убить.

— Зачем я ему мертвый? С мертвого взятки гладки. Ему деньги были нужны.

— Ты ему обещал? Долг за тобой был?

— Был должен. Сказал: пойдем на ту сторону, там у меня тайная квартира, в ней наличными держу. Он поверил.

— А там только любовница молодая. Если и есть у нее наличные, так мелочь: на побрякушки да на наряды.

— С чего взял: любовница?

— Так ты же у нее ночевал. Глафирой звать.

— Выслеживали?

— Сообщники твои по контрабанде на след привели. Рано или поздно должно было случиться.

— Теперь что? В тюрьму? Сестру и своих племянников позорить?

— Не я же опозорил.

— О, разумеется, не ты. Я! — выкрикнул Иван Артемович, его лицо вдруг сделалось бледным.— Я,— повторил он чуть слышно.

Михаил Павлович глядел на него изучающим взглядом. Ни жалости или сострадания, ни ненависти или презрения не испытывал. Никаких чувств к своему зятю не возникло у него.

Как давеча Иван Артемович, так теперь и он кончиками пальцев дотянулся до ножа, легким толчком пихнул его к Ивану Артемовичу.

— Можешь забрать. Не хочу зорить твою коллекцию. Другого такого ножа не найдешь.

Выходя из кабинета, Михаил Павлович в зеркале вскользь увидел, как Иван Артемович молниеносно схватил нож и спрятал в столешницу.

Выйдя из дому, недолго постоял на крыльце раздумывая. Только что он совершил поступок, которому не будет поощрения никогда. Покрыл своего зятя. Да нет, не только что, а еще ночью, когда подобрал нож и завертывал его в платок. Уже тогда, еще не осознавая, он готовился совершить подлость.

Ну, а если бы он поступил, как должно? По совести? Тогда что?

Вдоль Харлампиевской несколько мальчишек и женщина торопились в сторону Ангары. Разговаривали громко, возбужденно. Звонко на всю улицу разносились мальчишеские голоса:

— Кровищи! Аж дух заняло, как глянул.

— В прорубь хотели, а тут полиция — едва ноги унесли!

Женщина, молодая, востроглазая, бегло скользнула взглядом по фигуре полицейского пристава, застывшей на парадном крыльце, что-то негромко сказала мальцам, те как по команде обернули к нему возбужденные любопытные лица.

Молодуха, шедшая в компании подростков, то и дело озиралась на него. О чем-то они все время судачили, невольно понижая голоса.

Вдруг представил, как он войдет в

церковь, прихожанки обернутся на него, начнут шептаться промеж собой:

— Сестру родную и племянников не пожалел — зятя в тюрьму спровадил.

— Этакий ни отца, ни мать не пощадит.

— Чин ему за это прибавят.

И ведь точно так бы и было, поступи он, как велит ему долг. Его бы и считали злодеем, а Ивана Артемовича жалели.

Где же выход?

Выхода он не видел.

ЭПИЛОГ

Прошло четыре года...

«Четыре года, один месяц и...» — подсчитывала в уме Елена Павловна, стоя на берегу.

Ангара вот-вот вскроется. Утренники бывали еще студеными, дорожная колея за ночь леденела, но на санях по городу уже не ездили, в сани запрягали только, когда нужно было за город.

С того берега по льду шли две санных подводы. Хоть всем известно, какая опасность подстерегает сейчас на реке, но неймется — рискуют. А ведь чуть ли не каждую весну гибнут во время ледохода. Пешего или конного застигнет ледолом посреди Ангары, спастись можно только чудом. Лед взламывается с пушечным гулом, и начинается светопреставление. С берега, с безопасного места смотришь и то сердце цепенеет.

Лошади трусили быстрой рысью. Возница бежал поперед саней, рядом с конем, и беспрестанно крутил вожжами. Стегать лошадь надобности не было: она и без того сознавала опасность, стригала ушами, прислушиваясь.

На этот раз обошлось, подводы благополучно достигли берега, лошади перешли на тяжелый медленный шаг. Въезд уже оголился от снега, санные полозья заскрежетали по галечнику. Мужика распарило, пока бежал через реку, он по-рыбьи хватал воздух ртом, из-под шапки струился пот, с бороды капало. Затуманенным взглядом окинул барыню, наблюдавшую за ним. Хотел прикрикнуть на коней, но изо рта вырвался сдавленный сиплый звук.

Больше Елену Павловну ничто не отвлекало от цели, ради которой она пришла, ради которой приходит на берег ежегодно каждую весну. Для нее это стало потребностью, обратилось в ритуал. Возможно, сегодня Ангара вскроется и больше ей нечего будет делать здесь до следующей зимы, когда река опять станет. Злополучная прорубь каждый раз появляется на одном месте, или Елене Павловне только так кажется, а на самом деле лед прорубают там, где придется. Никто ведь не промеряет расстояния от берега и от дороги, когда начинают долбить. Несколько раз она нарочно приходила смотреть. Мужики с ломами и пешнями спускались на застывшую реку, немного медлили, потом кто-то один ударял ломом и мигом начиналась дружная работа. Не проходило получаса, как прорубь бывала готова.

Картину гибели брата Елена Павловна составила в воображении. Как было на самом деле, знала только в пересказе. Очевидцев не расспрашивала, напротив, избегала. Ее донимала Глаша: той необходимо было поплакать, поговорить. Елене Павловне приходилось одергивать горничную:

— Глаша, не смей говорить про то, чего не видела!

Девка простодушно вскидывала глаза на рассерженную барыню. Она настолько вжилась во все подробности, столько раз повторяла их, что ей уже самой казалось, что она видела все воочию.

Но как бы там ни было, свое дело Глаша сделала: воображение Елены Павловны следовало за ее подсказкой.

К тому времени, когда на берегу появился помощник пристава, там уже собралась толпа. Городовые с трудом удерживали любопытных, не подпускали к проруби, к месту, где на льду растеклась кровь.

— Позвольте, господа! Нельзя так, — увещевали они солидных горожан. Мальчишек прогоняли, не брезгая тумаками, мужиков и баб из простонародья толкали в шею, сопровождая свои действия не-

цензурными оборотами. Словом, поддерживали порядок.

Михаил Павлович спустился на лед, полицейские почтительно расступились, околоточный надзиратель отдал рапорт. Праздная публика на время затихла, нетерпеливо ожидая, какие же действия предпримет полицейский чин. Михаил Павлович не торопясь обошел вкруг кровяного пятна, приблизился к проруби, заглянул в подледную темень. Сквозь полуторасаженную толщу воды можно было разглядеть каменистое дно, и поэтому казалось, что глубина не столь велика. Более минуты он постоял у края проруби при наступившей тишине. Потом внезапно — видевшие только ахнули — пошатнулся, теряя сознание, вскинул руку. Околоточный, бывший поблизости, не успел подбежать. Михаил Павлович сделал один неловкий шаг и — потерял равновесие. На берегу услышали как булькнуло. Даже и брызг не вылетело из проруби на лед.

«Зачем ты сделал это, Миша? Зачем?»

Ни тогда, ни после не верила она в то, во что верили все. Нет, не головокружение внезапное стало причиной смерти брата. Самоубийство!

Он стоял перед неразрешимой задачей: либо самому поступиться честью, либо... либо опозорить сестру, ее семью. Он так же, как и она, догадывался обо всем: и о связях Ивана Артемовича с контрабандистами, и о том, что его зять убийца.

«Не свое дело ты выбрал, Миша. Не при твоем чистом характере служить в полиции — там подвизаются без совести и чести. Сколько об этом говорили с тобой...»

Тело утопшего нашли только в середине лета. Труп прибило к острову ниже монастыря, и он застрял там, зацепившись за ветви смородинника и тальника, свисающие в воду.

Тогда же состоялось погребение. Стояла нестерпимая жара, а когда возвращались с похорон, разразилась гроза.

С реки шла, как с кладбища. Всегда ее охватывает такое чувство. Даже бывая на могиле брата, она не испытывает подобного состояния. Будто не там, не в земле он погребен, а здесь — подо льдом. Летом, когда река вскроется, этого чувства у нее уже нет.

...Возвращалась, как с кладбища. К себе, в немилый дом. Новый каменный особняк, предмет зависти многих горожан, не осчастливил Елену Павловну. Когда его строили, ей думалось: счастье поселится в его стенах. Поэтому-то она так торопила тогда, настаивала, чтобы к строительству приступили немедленно.

— Не могу больше в этих стенах. Не могу! Давят! Душу давят!

Иван Артемович не возражал, напротив, потакал ее причуде. Строили быстро и хорошо. Супруг не скупился на затраты. По всем вопросам архитектор советовался только с Еленой Павловной, Иван Артемович ни во что не вмешивался, безропотно оплачивал все расходы. Были они немалыми. Зато особняк вышел на славу, стал украшением всего околотка. И внутри отделан наилучшим образом. В его облике сочетались красота и скромность. Не стало теперь большого крыльца, нахально выступающего в улицу. Парадный вход со стороны смотрелся не столь притязательно, как в прежнем доме. Зато откроешь дверь — посетителя встречает широкая лестница с мраморными ступенями, ведущая наверх.

Постройкой каменного особняка Иван Артемович как бы замаливал свои грехи. Хоть откровенного разговора между супругами не было, он догадывался, что ей многое известно. По смерти Михаила Павловича дело об участии Валежина в бесчестных махинациях и связях с контрабандистами не получило огласки. В убийстве Виктора Пригодина его даже не заподозрили. Этот случай посчитали делом рук тех же бандитов, которые расправились с неким Степкой Антиповым.

Совершенно случайно Елена Павловна проведала и про мужнину измену и даже видела девку, с которой он путался. Без намека на ревность глядела на нее. Похожее любопытство у нее вызвала бы встреча с каким-либо диковинным животным. Девка была очень не дурна собой, ее можно было назвать даже красивой, если бы не вызывающая вульгарность ее манер. После этой встречи лишь не подвластное ей чувство омерзения прибавилось у Елены Павловны по отношению к супругу, но и оно мало-помалу

испарилось, осталось только в воспоминании.

Сейчас, занятая своими мыслями, она совсем не замечала людей, группами и в одиночку спешащих навстречу ей. И лишь дойдя до угла, где нужно было отвернуть, Елена Павловна вдруг услыхала позади себя гул, подобный отдаленному раскату грома. Вскрывалась Ангара. Лед взламывало за городом, примерно возле Лисихи.

Уже не только детвора и подростки, взрослые не стесняясь бежали на берег, боясь пропустить зрелище. Не один страх перед могуществом природы, но еще какое-то неясное чувство удовлетворения испытывает человек, любуясь яростным разгулом стихии.

Как она ни спешила, на берег пришла, когда река уже вскрылась, по ее стекольно-синей глади несло ослепительно-белые осколки и глыбы льда. И уже с противоположного конца, с низовий приносило иногда внезапные раскаты. На удивление мирно в этом году прошел ледолом. Бывало, ледяными заторами подпруживало реку и вода затапливала прибрежные улицы, иной раз подкатываясь к их особняку. Нынче обошлось.

Народ не спеша расходился, берег вскоре опустел. Елена Павловна последний раз глянула на текущую воду, пытаясь определить место, где совсем еще недавно находилась прорубь.

Возвращалась той же дорогой. Дощатый настил тротуара лишь недавно очистился от снега, покоробленные плахи сыро скрипели под ногами. Три девочки гимназистки, настигая Елену Павловну, шли серединой улицы, где тоже высохло, дорожная колея начала даже слегка пылить. Девчушки громко разговаривали, в прогретом весеннем воздухе их голоса возбужденно звенели. Чужой разговор не интересовал Елену Павловну до тех пор, пока она не услыхала произнесенным свое имя:

— ...Купчиха Валежина...

Невольно обернулась. Нет, гимназистки обращались не к ней, даже не замечали ее, разговаривали между собой.

— Тебе бы, Лидочка, такого мужа.

И без того румяное хорошенькое личико девочки, которую назвали Лидочкой, вовсе зарделось. Встряхнула косичками, что-то сказала. Подружка рассмеялась.

— Ты тоже красивая и умная!

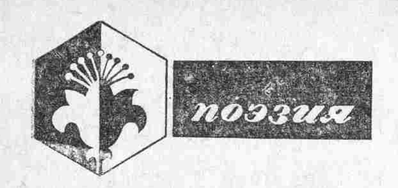
— В наше время женщина может чего-то достичь, если она богата, красива, и умна, — заметила третья серьезным тоном наставницы, который забавно было услышать из уст такой пухленькой лупоглазой куколки.

Елена Павловна свернула на Почтамтскую, гимназистки прошли дальше. Должно быть, тема разговора у них не переменилась: прежде чем им скрыться за углом, все трое остановились, повернули головы в сторону особняка Валежиных.

Елена Павловна и прежде часто слышала лестные отзывы. Ее богатству, ее положению завидовали. Особенно это проявилось с постройкой нового дома. В приемные дни по вторникам у нее в гостиной собирался цвет иркутской интеллигенции. Во всяком случае, так думала она и также считали все из ее круга. Устроительницей приемов и отчасти главной притягательной силой считалась она. Иван Артемович устранился ото всего, в гостиной показывался редко, иные из завсегдатаев даже не были с ним знакомы. Про особняк говорили не иначе как «дом купчихи Валежиной». В городе нередко можно было услышать:

— Вчера был в гостиной у Елены Павловны.

Если бы возможно было вычеркнуть из памяти все, что предшествовало постройке особняка... Увы, ничто не забывалось. Каждый день, каждый миг она жила под страхом страшного разоблачения. Более всего опасалась за Митю. Мальчик рос любознательным, оградить его от общения с детьми приказчиков и конторских невозможно, рано или поздно горькая истина откроется ему. Как-то это подействует на впечатлительную душу? Перед ним будет выбор: следовать по пути совести и чести, избранному его дядей, или стать на путь бесчестия, обмана, по стопам своего отца. Ни тот ни другой выбор не устраивал ее — страшны оба.



Елена ШУВАЛОВА

ПОД ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НЕБОМ...

□ □ □

Отторгнуть этот прожитый кусок,
Отторгнуть мягкий моросящий дождь,
Над летним полем радугу крутую,
Летящую тоску мятежного заката...
Отторгнуть прядь седую в волосах,
Летящую тоску мятежного заката...
Лишь чистоту воды, переходящей в воздух,
Оставить...
Только этот шаг вперед,
Мгновенную возможность пересечь,
Забыв, что там не так...
И, как в огонь, в решительность мгновенья,
Отторгнув страх, привязанность сравненья,
Взлететь...
И, руки выпростав вперед,
Слепец недавний, наконец увижу
Всю неизбывность мира красоты,
Свободного от тяжести иллюзий,
И таинства негромкие черты...

□ □ □

Когда от многих, многих, от бесчисленных друзей
Один — себе и друг, и враг останешься...
Всех помяни
и памятью тогда, как светом,
озари свое пристанище,
И сам с собой вино, коль есть, разлей!
Встряхнись! Еще не у разбитого корыта!
Прости, опять прости своих друзей —
Что дорого тебе, то ими позабыто...

□ □ □

Жив ли ты где? Почему-то молчит мое сердце...
В мае исчез, под самые Черные были...
А говорил, что от нас тебе некуда деться.
Если ты жив, почему мы тебя позабыли?
Худо идет без добра иль идет избавленье от порчи?
Сколько их год покосил, начиная с подсочника Васи!
Дальше Сережа, Борис, на работе Володя-рабочий.
Матери живы — плачь им теперь, убивайся...
Может, вопрос мой не слышен — так тих он и робок,
Что еще хуже — ответа я знать не желаю?..
Сколько со всеми удобствами многоэтажных коробок —
Из-под дверей общенье
несется собачьим лаем.

□ □ □

Тихая пристань — мой сынок,
Реагирую на каждый звонок.
Отодвинется беда, если я не струшу,
По листочкам научу яблоню от груши
Отличать... Подрастай, вон один ученый
На работе говорит: я совсем никчемный
Для науки человек.
Пролетело время...
Подсади, верный сын, снова ногу в стремя,
Полетим, что есть сил: мое солнце низко,
Спешимся у могил драгоценных близких.

□ □ □

Под одним и тем же небом —
Суета в Москве и слякоть,
Синь озер мешает с ветром
Лодки желтый лепесток.
Так рифмуется со счастьем
Безутешным
слово — «плакать»,
Так горит, не догорает
Над Горнюхою восток.
По тропинке травянистой
Я бегу от дома к дому,
Чуть взбираюсь на пригорок —
Деревянное крыльцо...

Я на год сдержу дыханье,
Летом северным ведома,
Сброшу звезды и озера
На Садовое кольцо.
В чистоту воды вступаю,
Предзакатное мгновенье —
Слева солнце, справа небо,
С рук сбегают родники.
Между небом и землею
На меня благословенье
Снизошло...
И ты о том же
Мне поведал, родненький.

1986

□ □ □

Для чего мы создаем все эти ценности,
Милосердие возводим в закон,
Чтобы «в шутку» парень целился
Из ружья в такую же, как он?
А она жива еще стояла,
Девочка пятнадцати годков...
— Припугнуть решили, настучала...
Ночь и хмель подвыпивших дружков.

То ль убийцы, то ль вчерашние подружки
Уже мертвой — камень на шею...
Господи, как в сказке, как в игрушки.
А фашисты
заживо в траншею
Зарывали... В Ставропольском крае
Мать — за пьянство, в ЛТП — отец.
Не от голода подростки вымирают —
При магнитофонах, без сердец...

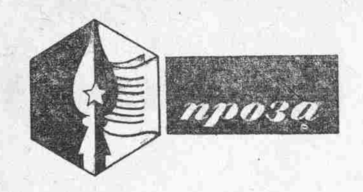
1987

Елена Николаевна Шувалова (Москва) родилась в 1940 г. в г. Москве.

Стихи публиковались в альманахе «Поэзия», в журнале «Москва».

В настоящее время работает в МИФИ.

В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.



Иван Комлев

ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Рассказ

Панкратов составил бутылки с кефиром в хозяйственную сетку, еще раз рассеянно окинул взглядом магазин — не надо ли еще чего? — вздохнул, вышел на крыльцо и остановился.

Путь ему преградили девочка лет четырех с льняными волосами, остриженными до плеч, ее молодая загорелая мама и щенок. Можно было обойти их, как делали другие входившие в магазин и выходившие из него покупатели, но Панкратов не обошел, достал свободной рукой из кармана мундштук и прикусил его кончик, сделал вид, что собирается закурить: ему захотелось посмотреть на живописную группу и, таким образом, присоединиться к их радости. Жизнь Панкратова была в последнее время невеселой.

Щенок, очевидно, был ничейный, сам по себе. Он пришел к магазину, потому что вкусные молочные запахи манили его, и стал взбираться по ступенькам, ведущим к двери, вовсе не заботясь, не зная по малолетству, что бесплатно в магазине молоко не дают. Шерстка на нем была пушистая и разноцветная, будто на костюмчик ему собирали всем собачьим миром, собирали к празднику жизни и потому дарили, в основном, светлые радостные лоскутки, преобладал светло-коричневый тон; лишь нос и глаза были смолево-темными; не покрытый шерстью голый животик щенка розовел нежной кожицей.

Щенок лежал на боку на третьей от земли ступеньке и спокойно и грустно покорялся ласковым рукам девочки. Она все смелее и смелее трогала его, ей хотелось взять его в руки, но она пока еще не умела этого сделать, потому что побаивалась.

— Хороший щенок? — спросил Панкратов, и обе — мама и девочка — отозвались разом:

— Хороший!

Девочка наклонилась к щенку, а мама наклонилась и переживала над ними. Увлеченная малышами, она не сразу осознала, что разговаривает с незнакомым человеком, подняла голову, и неожиданно лицо ее оказалось близко к рыжебородому лицу Панкратова — он как раз в этот момент присел и смотрел на нее с верхней ступеньки.

Это был вечер последнего дня июля, месяца, когда поспевали не только овощи и фрукты, но даже люди одевались соответственно — в одежды светлых и теплых тонов, будто и они, впитывая горячие солнечные лучи, созревали тоже. На Панкратове была рубашка песочного цвета, на светлом платье молодой женщины яркими желтыми и оранжевыми пятнами пламенели цветы или, может быть, осенние листья. Панкратов не успел разглядеть, потому что ему нужно было смотреть в красивое лицо женщины.

— И вы хорошие, — непроизвольно вырвалось у него вслух.

Он сказал так и немного смутился, потому что нечаянно посмотрел, когда она неожиданно подняла голову, в вырез ее платья и увидел там, на левой сто-

роне ложбинки, как раз против сердца, на белой незагоревшей в том месте коже родинку. Темное пятнышко родинки размером с копеечную монету будто специально находилось против сердца, как мишень для любовных стрел.

И глаза у нее были из лета, золотисто-медовые; но детская непосредственная радость в них была подернута легкой дымкой затаенной грусти.

Они только мгновение глядели глаза в глаза; она вновь опустила голову, а он выпрямился и опять оказался высоко над ними.

Девочка уже осмелела и взяла щенка на руки, прижала его к лицу. Щенок невозмутимо грустил, может быть, он успел уже что-то познать в своей собачьей жизни и знал, когда не следует барахтаться и вырываться.

— Возьмите его себе,— сказал Панкратов.

Женщина подумала о том же, но колебалась, один раз бросила короткий вопрошающий взгляд на Панкратова, словно ей действительно надлежало спросить у него разрешения на то, чтобы взять в свою квартиру собаку.

— И меня возьмите,— добавил негромко Панкратов. — Папы у вас нет, а так будет вас двое и нас двое.

Жена Панкратова умерла.

Она не хотела умирать и потому долго болела и страдала, заставляя одновременно с собой страдать и мужа.

Панкратов был сильный и здоровый, он никогда не болел и даже о своих годах никогда не вспоминал; бороду он отпустил не из-за возраста, а по случаю, оставил после двухнедельной лесной командировки.

В те дни, а потом и ночи, когда он сидел у постели жены, он впервые задумался о ее и своем возрасте, о жизни и о смерти. Оказалось, что возраст у них немалый, дети взрослые и, значит, в жизни что-то важное совершено и можно уже умирать. Но для смерти необходимо, чтобы человек устал жить, а они не устали, даже толком не надоели друг другу, и потому смерть одного представлялась преждевременным и несправедливым исходом для обоих. И еще несправедливым казалось то, что таявшего на глазах любимого человека пришлось отдать в больницу чужим людям, которые точно знают, что надо отрезать у больного, и хорошо умеют и разрезать, и зашить по живому, но они не могут заменить ласки Панкратова, его чудодейственного прикосновения, когда жена просит: «Погладь мне руку»,— и он гладит своей широкой ладонью ее истончавшую слабую руку от худенького плеча до кончиков пальцев и приносит ей облегчение. Облегчение, которого не могут дать самые современные, самые лучшие лекарства.

На висках и в бороде у себя Панкратов обнаружил в те дни седые волосы. И он решил сбрить бороду.

— Не сейчас, — сказала на это ему жена, — потом, после того, как я умру.

То, что жена согласилась со смертью, Панкратову очень не понравилось, но бороду он решил не трогать, раз она так пожелала.

— Мне сказали, что здесь замечательные хирурги,— подбодрил и утешил Панкратов жену, — они умереть не дадут.

Поддержал в ней веру: ведь для того, чтобы жить в трудное время, надо крепко верить, что ты можешь и должен жить.

Молодая женщина ничего не ответила Панкратову, будто бы не услышала его, сказала дочке:

— Пора домой.

В голосе ее Панкратову послышались раздумье и сомнение, и он пошел с ними рядом, будто бы ему было по пути с ними. Вернее, он пошел рядом с девочкой и со щенком, а по другую сторону от девочки шла ее мама.

Щенок философски-невозмутимо принял наметившуюся перемену в своей неожиданной жизни, девочка была счастлива и думала лишь о том, как бы не уронить свою драгоценную ношу, и вместе они даже не подозревали, какие мысли возникали у молчаливо идущих взрослых.

Панкратов свернул вместе с ними во двор, прошел тенистой аллейкой ко второму подъезду, но у входа остановился. Дальше идти без приглашения было нельзя — это было бы неуважением к женщине. Девочка вошла в подъезд первой,

мама ее, перешагнув одной ногой через порог, чуть замешкалась, полуобернувшись сказала:

— Если... — лицо ее побледнело от волнения, так что даже загар куда-то исчез.— Чаю хотите?

— Конечно, хочу!

Когда человек устает среди людей от одиночества, то прекрасным и благодарным кажется ему самый малый сердечный привет.

— Меня зовут Андреем, — не в силах скрыть своей радости сказал Панкратов.

— Меня — Галей. А как вас по отчеству?

Панкратов еще там, у магазина, забыл про свой солидный возраст, но она напомнила ему.

— Павлович, — неохотно сообщил Панкратов.

— Заходите, Андрей Павлович,— сказала Галя, пропуская его в квартиру вслед за дочерью, — только извините, у нас не прибрано.

Нежданный гость Панкратов, пока хозяйка на кухне готовила чай и, проходя по комнатам, незаметно прибирала разбросанные вещи, познакомился с девочкой Наташей, предложил ей искупать беспризорника, и они вместе вымыли щенка в ванной под душем. Щенок и здесь вел себя удивительно спокойно, словно принимать душ было для него обычным делом, он лишь поворачивал нос из стороны в сторону да изредка встряхивал головой, если вода попадала ему в уши. Брызги летели тогда во все стороны, и Наташа взвизгивала от восторга. К концу купания Галя заглянула в ванную:

— Возьмите простыню, — и протянула им мягкую байковую тряпочку.

Панкратов и Наташа сделали на некоторое время из щенка куклу, завернули его в эту байку, чтобы он обсох. На кухне потом щенок энергично вылакал блюдце молока и степенно отправился в комнату осваивать новую для себя территорию. Панкратов чуточку позавидовал тому, как легко и просто решалась участь бесхозного живого существа: маленькое отзывчивое сердце девочки полюбило щенка, и она сразу же обратила любовь в бескорыстную заботу о нем.

— Солидный мужчина, — восхитился Панкратов, помешивая ложечкой в стакане свой чай, — сразу чувствуется наличие крови всех благородных пород.

В этот момент «солидный мужчина» присел и сделал лужицу. И вдруг ему стало весело! Он попытался ухватить невидимого врага у себя на хвосте, крутнулся, шлепнулся, вскочил и огненным клубком покатился в комнаты.

— Ой! — растерянно сказала Наташа, глядя на мокроту среди пола.

— Тащи скорей тряпку, — посоветовал ей Панкратов.

Она соскочила с табуретки и побежала.

Панкратов посмотрел на Галю, она, чуть приметно улыбаясь, посмотрела на него.

— Вы здесь недалеко живете? Я вас почему-то раньше никогда не встречала.

— Не замечала, — подсказал Панкратов.

— Нет, вы заметный, я бы запомнила.

— Раньше я был без бороды. Я тоже вас не встречал раньше, но мне кажется, что я знаю вас давным-давно, тысячу лет.

Это было банально, но говорил он искренне, и, он чувствовал, ей понравилось. Они еще говорили и молчали с полчаса; говорили о пустяках, молчали — о важном, что так неожиданно постучало к ним.

Потом он понял, что пришла пора уходить, попрощался с хозяйкой и вышел. Наташа, занятая щенком, не заметила его ухода.

С волнением в груди позвонил на следующий вечер Панкратов у знакомой, выкрашенной голубой краской двери. Дверь открылась быстро, словно его ждали. Не успел Панкратов сказать: «Здравствуйте», как Наташа выступила вперед матери и спросила его строгим голосом:

— Ты почему вчера ушел?

Панкратов не ожидал такого вопроса, но нашелся быстро:

— У меня же свой дом, я там должен ночевать.

— Старшим нужно говорить: «Вы»,— назидательно сказала мама дочке.

— Ну, не всем, — не согласился Панкратов, — маме и родным приятнее, наверное, если им говорят: «Ты».

Наташа внимательно выслушала его, зыркнула глазенками поочередно на ма-

му и на Панкратова, сделала какой-то вывод для себя и, ухватив его обеими руками за большой и средний палец правой руки, потащила в комнату. Сердце Панкратова заныло сладкой болью от прикосновения ласковых мягких ладошек девочки.

— Сам сказал: «И меня возьмите»,— продолжала выговаривать ему Наташа,— зачем ушел?

Панкратов, надув щеки и округлив глаза, смотрел на Галю, всем видом говоря ей: «Попались: она, оказывается, все слышала!»

— Папы у нас нет, ты сказал: «Вас двое и нас двое», а сам обманул!

Щенок откуда-то выкатился под ноги, ухватил Панкратова за штанину и, рыча, стал тащить в свою сторону.

— Вот это встреча,— рассмеялся почти счастливый Панкратов, — сдаюсь!

— Будешь спать на диване, вот здесь, — не меняя строгого тона, приказала Наташа, — или с мамой.

— А ты?

— Я — с Мурзиком.

— Это уж как начальник распорядится, — возразил Панкратов, не смея взглянуть на Галю.

Начальник Галя зарделась и ушла на кухню. Наташа озадаченно уставилась на Панкратова; она не однажды слышала от матери, что у нее начальник строгий, и вот, оказывается, надо спрашивать разрешение у него.

Снова пили чай с печеньем, которое успела приготовить к приходу гостя Галя. В этот вечер Панкратов ушел позже, после того, как уснула Наташа, чтобы понапрасну не расстраивать девочку.

В следующий день Панкратов приковал себя дома у телевизора: он чувствовал, что надо сделать перерыв, чтобы не вызвать в душе молодой женщины протест; женщины очень щепетильны в отношении приличий, три вечера подряд — это слишком.

Наташа его отсутствие объяснила себе, видимо, по-своему: когда он явился вновь, на четвертый день их знакомства, она спросила:

— Начальник разрешил тебе у нас жить?

— Разрешил, — после некоторых сомнений сказал Панкратов, полагая, что не будет большого греха в таком обмане, что он будет уходить, как в прошлый раз, после того, как девочка уснет.

Он видел, как мимолетно нахмурились брови у Гали, но она ничего не сказала, наверное, подумала так же, как подумал Панкратов.

Так ходил Панкратов в гости, иногда пропуская вечер или два и не находя тогда себе места и дела; Наташа и Мурзик, который почему-то очень мало рос, встречали его радостно, Галя держалась приветливо, но спокойно, будто бы равнодушно. Но внимательному Панкратову казалось, что ей желанны все-таки эти вроде необязательные встречи, она ждет их и волнуется, когда его долго нет. Иногда Панкратову хотелось крепко обнять ее — такая она была теплая и притягательная, но что-то еще не вызрело в их отношениях, и он сдержал себя.

Однажды она была весь вечер молчалива и грустна, была, очевидно, чем-то расстроена. Панкратов поглядывал на нее вопросительно, но она прятала глаза, уходила от его настойчивых взглядов, не хотела, значит, рассказать ему о причине своих огорчений.

Он тоже поневоле поскучнел, уходя, задержался у двери, спросил:

— Что случилось, Галя?

— Ничего.

— Я же вижу. Я чем-нибудь обидел вас?

— Нет.

— А кто?

— Никто.

Панкратов окончательно огорчился. И еще он понял, что если уйдет вот так сейчас, то никогда потом не будет между ними тех хороших отношений, что были прежде.

— Если не скажешь, — шутя пригрозил он, переходя на ты, — то я останусь стоять здесь до утра.

Она молчала, беззащитно глядя мимо него, губы у нее обидчиво оттопырились, она готова была заплакать и оттого стала похожа на Наташку, когда та сердится и капризничает. Нежность переполнила сердце Панкратова. Ему захотелось поцеловать эти по-детски надутые губы, обнять, пожалеть и приласкать милую

женщину, чтобы рассеялись, ушли безвозвратно ее горести и печали. Но он посмел лишь коснуться ее руки.

— Прости, пожалуйста,— сделал движение выйти.

— Я... — она склонила голову, — я хотела сказать вам, что не надо больше приходить!

— Да? — растерялся он и от огорчения пожевал ус. — Конечно. Надо бы раньше сообразить: старый...

— Нет! Андрей Павлович, вы... нет. Наташа папу...

— Что?— он вдруг подумал, что есть ведь где-то Наташин отец, и он, возможно, намерен вернуться к жене и дочери.

— Наташа в садике, — глядя себе под ноги, с усилием проговорила Галя, — рассказывает, что у нее есть папа. И на улице всем подряд хвалится, что папа разрешил ей Мурзика держать.

Вон что! Как же он не подумал, что ей трудно отвечать знакомым, зачем ходит к ней этот немолодой рыжебородый, или, если даже они и не спрашивают, делать вид, что не замечает она сопровождающих ее любопытных и сочувственно-понимающих взглядов. Панкратов сказал осторожно:

— Папа, наверное, есть.

Она нахмурилась, резко повернула голову в сторону. Об отце Наташи не хотела слышать ничего. И тогда Панкратов решился:

— Галя, — сказал он, — мы — взрослые люди, мы обманываем, наверное, не Наташу, а самих себя.

Она молчала.

— Если нельзя нам встречаться, то я уйду,— голос его дрогнул.

— Вы хороший, — еле слышно отозвалась она.

— Галя! — с остановившимся сердцем, будто свалился с обрыва, выдохнул Панкратов. — Я люблю тебя! Вас обеих!

Она, словно защищаясь, сделала предупреждающий жест, но, прикоснувшись к его руке, не оттолкнула его и своей руки уже не отняла. Ее разрумянившееся лицо запылало еще ярче, она зажмурилась.

— Не уходите, — прошептала она чуть слышно.

Губы у нее припухшие, но чуткие и нежные...

«Так не бывает»,— подумал Панкратов, теплым вечером последнего июльского дня подходя к больнице, где после тяжелой операции его жена проводила свои самые трудные дни. Не менее трудными оказались те дни и ночи для Панкратова.

Дорога к больнице кончилась, и он не успел додумать, как молодая красивая женщина скажет ему о том, что у них скоро будет ребенок, и как обрадуется этой новости Панкратов и скажет ей, что если родится сын, то они назовут его Сергеем, а она потребует, чтобы имя у него было такое же, как у отца. Что ж, Андрей Андреевич — это тоже прекрасно!

Там, на крыльце магазина, он лишь подумал, что можно сказать: «И меня возьмите», но промолчал, а женщина после его неподдельного восхищения им: «И вы хорошие!» ждала от него еще каких-то приятных и значительных слов. Не услышав их, она осердилась и дернула дочку за руку:

— Не прижимай его к лицу! — девочка и щенок в тот момент обнюхивали друг друга. — Брось!

Панкратов увидел жену неожиданно — на широкой лестничной площадке, куда для свиданий допускались родственники ходячих больных. Она была одета не в казенный, а в голубенький домашний халатик и была, по-видимому, очень довольна своим первым после операции далеким от кровати путешествием, улыбалась навстречу мужу робкой улыбкой, словно сама не верила, что она жива и даже насмелилась выйти встречать его. Нос ее заострился, глаза ввалились, стояла она с трудом, и у Панкратова вырвалось:

— Ох, ты, синяя птица, ты почему здесь?

Она, облизнув сухие губы, вновь попыталась изобразить для него улыбку:

— Я тебя в окошко увидела и вышла. Пойдем сюда.

Она взяла его за руку, как берутся дети, когда идут на прогулку, и прошла с ним к обитому черной кожей дивану; шаг ее был короткий и неуверенный, будто несла она на голове тяжелую и хрупкую вазу. Панкратов подле нее тоже ступал сторожко и невольно притаи-

вал дыхание, подлаживаясь под ее медленное плавно-напряженное движение. Он помог ей сесть, примостился рядом.

Переведя дыхание, она спросила:

— Почему ты назвал меня синей птицей?

Раньше, давно, он называл ее галчонком, потому что была она чуть ли не круглый год почти черной от загара. Теперь же ее бледная, много месяцев не видевшая солнца кожа стала прозрачной, и сквозь нее просвечивали слабо пульсирующие голубые прожилки вен. Но он схитрил:

— Потому что в этом халате — синяя, как курчонок.

— За рубль шестьдесят пять? — она изо всех сил старалась выглядеть бодрой.

— Нет, дороже,— горло у Панкратова перехватило. — Гораздо дороже: ты у меня бесценная!

— Ты не думай, я уже начала поправляться: уже на двести граммов вес прибавила.

«Боже! Она прибавила двести граммов!»

— Ты принес кефир? Знаешь, я бы клубники поела. Доктор сказал, что мне можно.— она сама не знала, чего хочет: это возникали и сразу же гасли в ней отголоски былых желаний. — От Наташи письма нет?

— Пока нет. Сдаст экзамены, тогда напишет.

«Андрюша почему не пришел?» — могла бы спросить она, если бы у них был еще и сын. Но после рождения дочери они решили повременить немного, чтобы девочка окрепла и подросла в материнской заботе; потом отложили рождение второго ребенка по какой-то другой, тоже важной причине; и третий раз что-то помешало — когда спохватились, наконец, всерьез, то жена сказала, что поздно, что неудобно ей идти рожать рядом с девчонками; недомогание от грядущей болезни окончательно сняло с повестки дня этот вопрос. А был бы Андрюшка, Панкратов ответил бы жене: «Он же с ребятами в турпоходе». «Ах, да, — сказала бы она, — я забыла. Почему-то я все путаю и забываю».

— Ты что молчишь? — она подняла руку, потрогала его бороду; разглядывая его внимательно, словно вспоминая в недоумении, где и когда видела этого человека в последний раз, она будто стремилась запомнить его облик надолго, как стараются запомнить дорогие черты, когда расстаются навсегда. — Ты устал от меня?

— Нисколько.

Рядом на диване, за спиной Панкратова, беседовали двое пожилых мужчин. Худощавый, которого, как знал Панкратов, оперировали неделей раньше Гали, уже одыбал и рассказывал, очевидно, брату:

— Растелешили, значит, меня, положили на тачку, увезли в операционную, а там — на верстак, там у них такой специальный верстак, привязали, как Иисуса Христа...

Сколько же в мире людей живет на грани между жизнью и смертью? Что они чувствуют, о чем думают, что познают и ценят? Этот столяр с большими жилистыми руками чуть отодвинулся от опасной черты, может, и ненадолго, и свет для него уже мил и хорош; а вот Галя все еще на зыбкой, как проволока, ненадежной дорожке, и неизвестно, куда она ее приведет.

Галя, позабыв опустить руку, все также задумчиво теребила усы и бороду своего Андрея; слабая полуулыбка на ее лице — как последний вечерний луч: вот-вот погаснет, и тогда наступит тьма.

Опять отчаяние подступило к Панкратову от этой покорной безнадежности во взгляде его жены.

Несколько дней и ночей после операции сидел Панкратов неотлучно у постели Галины. Следил за капельницей, измерял температуру, ставил горчичники, умывал, кормил, помогал переменить положение тела — и все сначала.

Страшно было прикасаться к ней и поворачивать ее в первый раз и потом, в последующие дни, садить, когда она сама ни поворачиваться, ни садиться не хотела, опасаясь за свое искромсанное и зашитое нитками тело. Как ни старался Панкратов убедить ее до операции, что еще не конец, есть надежда, она уверовала в обратное, что спасения нет, и все старания врачей напрасны, а хлопочут они вместе с мужем единственно ради

того, чтобы обмануть ее, успокоить, чтобы не страдала ее душа, когда страдает от нестерпимой боли тело. Она прислушивалась к себе, и ей казалось, что проник в нее и грызет изнутри голодный хищный зверь.

В ожидании операции она стала нервной и подозрительной. Она считала, что врачи умышленно оттягивают день операции, сомневаясь, стоит ли вообще связываться с обреченной, когда она, ненадежная, может умереть во время операции или вскоре после нее. И ей подозрителен был обязательно бодрый Панкратов, который навещал ее в больнице не в тот час, когда она ждала его, забывая, что он днем занят на работе и может приходить только вечером. Она даже обвинила его однажды в том, что она стала ему не нужна и он лишь дожидается ее смерти. И она желала операции как скорейшего избавления и от болей и от ужаса медленного, мучительно-долгого приближения смерти; за скорой смертью следовало бы и скорое избавление от жалости и людей посторонних, и близких, которых она любила прежде и ради которых жила, но теперь стала им, как она думала, обузой.

Иногда боль внутри ее затихала, уходя куда-то, или зверь засыпал, и тогда Галина с недоумением оглядывала окружающих ее больных. Они странно не соответствовали бытующим представлениям о людях этой пугающей одним только названием больницы: они знакомились между собой, разговаривали — меньше о своих болезнях, больше о постороннем,— делились вкусненьким, ходили в столовую, ели, смотрели установленный там телевизор, даже шутили и смеялись, если для этого был повод, сообщали, кто следующим назначен на операцию, узнавали каким-то непостижимым образом, у кого какая болезнь, и вместе с медперсоналом участвовали в праведном обмане больного, который единственный толком не знал, как далеко зашла у него болезнь и, следовательно, какой наиболее вероятный ее исход.

Отчаяние Панкратова состояло в том, что жена его с некоторых пор не боялась смерти, а боялась жизни, в которой, как она думала, ей предстояло повторение однажды пережитых мучений. Когда душа перестает бороться, то человека уже не спасти.

После операции нельзя лежать, надо начинать двигаться как можно раньше. Природа так создала человека первоначально, для обеспечения им самого себя пищей и для спасения от хищников и другой возможной опасности, что он должен постоянно ходить и даже бегать. Когда же блага цивилизации обеспечили человеку и запасы пищи, и относительную безопасность и ему незачем стало бегать, то организм его не перестроился на новый режим. И если человеку случается подолгу пребывать в неподвижности, он быстро ослабевает и гибнет. У него начинается отек легких. И надо ему помочь.

Панкратов начал потихоньку шевелить свою Галю на второй день после операции — как рекомендовали врачи, но она противилась взглядом: «Зачем вы меня мучаете и обманываете?» И этот молящий взгляд вызывал в сердце Панкратова жалость, рождал неуверенность в том, что то, что он делает вопреки желанию любимой, может быть ей полезно. Он невольно ослаблял усилия, тогда как их следовало наращивать изо дня в день.

Резкое ухудшение состояния жены испугало его, и тогда он не выдержал, сорвался и почти накричал на нее.

— Зачем, — сказал он горько ей, — врачи стараются, зачем лекарства? Зачем я здесь, если ты сама не хочешь жить?! Никто твою работу по выздоровлению за тебя не сделает!

Вряд ли до нее дошел тогда смысл сказанного им, но она поняла, что он недоволен ею и сердится, и испугалась. Она привыкла к мысли о смерти и не боялась ее, но она боялась умирать в одиночестве. И ей показалось, что Панкратов может уйти, если она не подчинится его требованиям.

И вот: лишь вчера она с его помощью впервые встала с кровати, а сегодня уже поднялась сама и даже вышла из палаты встречать его. Панкратову стало стыдно за свой гневный порыв, который хоть и оказался полезным, но заставил жену угождать ему, предельно напрягая свои слабые силы. Он не сумел убедить ее

лаской, и потому перелома в ее настроении не произошло, и желание кефира или ягод — это лишь желание угадать, что ему хочется услышать от нее, чтобы он поверил в ее стремление жить. И вопросы о ребенке — того же порядка.

Она почувствовала, что он чем-то огорчен; Панкратов заметил, что у жены после операции очень обострилось восприятие плохого в настроении окружающих, особенно в настроении хирурга, который ежедневно осматривал ее, и мужа — двух самых могущественных по отношению к ней людей.

Она вновь испугалась, что он, осердившись, оставит ее одну, и сделала новое усилие.

— Пойдем к окошку,— сказала Галя.

Он помог ей встать с дивана — она была легкая, как ребенок, и они прошагали два метра и стали у окна.

— Тощая? — спросила она, угадав его мысли и опять обеспокоившись, что такая она ему не нравится и у него есть желание поскорее уйти.

— Нет, — ответил Панкратов, стараясь, чтобы голос звучал честно, — худенькая, стройная, как балерина.

Она улыбнулась, потому что поняла, что он не торопится.

— Обними меня.

Он осторожно, чуть дыша, положил руку на ее узкие плечики, заглянул в лицо, на которое теперь падало вечернее солнце из окна. В ее редких золотисто-медового цвета глазах, до того тусклых и усталых, ему почудилось мечтательное выражение. Может быть, она поверила его словам о том, что она стройная как балерина, а может, это солнце вызвало в ней воспоминание, но она вдруг сказала:

— Ну и пусть. Зато я опять могу надеть твое любимое платье.

— Какое платье? — удивился он.

— С подсолнухами, — глаза у нее все-таки блестели.

«Вот, — сообразил наконец Панкратов, вспомнив женщину у магазина, — на платье были подсолнухи!»

— Так оно сохранилось?!

— Поцелуй меня,— вместо ответа попросила она.

Он легонько привлек ее к себе и поцеловал в лоб.

— Не так,— она подняла лицо и закрыла глаза.

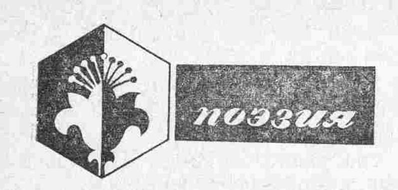
Он взял ее за другое плечо второй рукой, желая прижать к себе, чтобы она не увидела его лица, и стремясь одновременно не сделать ей больно. Она предупреждающе ойкнула, почувствовав, как руки его налились мускулами.

— Осторожно! А то распорюсь по швам, — и, обхватив его невесомой рукой, прижалась к груди.

Губы у нее истончились тоже, но остались чуткими и нежными; Панкратов прикоснулся к ним своими сильными, но нежадными губами. Она долго не позволяла ему отстраниться, словно прислушивалась, куда идет жизнь через этот поцелуй: к ней или от нее?

Жена воскресла из небытия, и вместе с ней, веря и не веря, почти не дыша, оживал в надежде Панкратов.

Ему открылось вдруг, что кроме желаний плоти и душевной привязанности и тоски есть и третье измерение любви, когда готов отдать все вместе со своей жизнью за то, чтобы под темной круглой родинкой на груди продолжало безостановочно стучать сердце единственной в мире женщины.



Маргарита ДЮКОВА

ЧАС ВРЕМЕНИ

Опять зимуем.
И пельмени с луком
по воскресеньям
дразнят аппетит.
Да за беседой
со старинным другом
час времени —
растянутый упруго,
пленяя нас,
к полуночи летит!

ИСПАНСКИЙ МОТИВ

В теплую ночь, Франческо,
гитару возьми, по грифу
пальцами осторожными
мелодию распредели.
В теплую ночь, Франческо,
тебя я приду послушать,
рядом с твоей гитарой
очень спокойно мне.

В темную ночь, Франческо,
в рощице апельсиновой
светят плоды, как звезды
первой величины.
В темную ночь, Франческо,
я тебя поцелую,
только глаза закрою,
чтоб было еще темней.

ПОГРУЖАЮСЬ

В трясине дней, на торфяных долинах,
среди саднящих воплей комариных,
на влажном пятачке болотной ряски
кружусь, как сумасшедший в дикой пляске.

А где-то высоко над смрадом, адом, тленом
пульсирует другая жизнь по венам,
кровосмесительница нищих и царей —
другая жизнь по берегам морей.

О торфяное, о родное ложе,
годится ли рожденному вне кожи,
вне памяти и даже вне души
так знать, чем побережья хороши!

И в пляске отходной святого Витта
морскую пену втягивать сквозь зубы
и радоваться, что не все отбито,
а только легкие и только губы...

□ □ □

Однообразие русских полей —
взгляд из вагона летящего поезда.
Взгляд! — когда видеть, наверное, поздно
все, что прекрасно... и плачь, хоть залей
однообразие русских полей.

Однообразие отчих долин —
в теплых ложбинах, поближе к селеньям,
пестрым палаткам цыган веселее,
словно к отлету готовится клин —
в однообразие отчих долин.

Ночью проснешься — качает вагон,
плачет ребенок от щей ресторанских.
Жаль, не услышу я песен цыганских,
тех, у костра, а не сквозь микрофон.
Ночью проснешься — качает вагон.

Вот и покойно на сердце моем:
однообразие лечит печали —
сны и пейзажи меня укачали.
Так и сдала бы квартиру внаем,
чтобы в вагоне качаться ночами.

РАЗРЫВ

В мир, осененный звездою высокой,
в смертное счастье великих идей
мне полагалось войти одиноко,
так же, как прочим из рода людей.
Травы не дрогнули, месяц не сгинул,
птица не щелкнула, шторм не возник,
только Вселенная выгнула спину,
болью приветствуя первый мой крик.

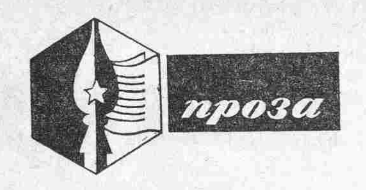
И подарила звезду над дорогой,
тихую песню, кибитку с шатром
и улыбнулась: пусть это немного,
коль разживешься, прибавишь потом.

Долго мне ездилось звездной дорогой,
долго преследовал сон кочевой:
степью ковыльной, ложбиной отлогой
еду и еду — и нет ничего...

Дерзкие замыслы не воплотились,
стал управляем желаний порыв —
только и в мудрости не примирились
разум и сердце — все глубже разрыв.
Вот и спешу, может быть, бесполезно,
в час испытаний связать напрямик
с вольной душой — безнадежную бездну,
с гибелью разума — творческий миг.

Маргарита Михайловна Дюкова родилась в Сибири в пос. Жигалово Иркутской области. Училась в Иркутском университете на математическом факультете. Стихи публикует с 1971 года. Является одним из авторов коллективного сборника «Бригада-81».

Живет в Иркутске.



Николай Соин

СЛАБОЕ ТЕПЛО ХОЛОДНОГО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Рассказ

Еще раз, теперь уже с крыльца, старик оглядел Лену и вошел в дом.

Старуха лежала в прежней позе: не шевелясь, лицом к двери, широко раскинув поверх одеяла легкие руки, однако, увидев вошедшего старика, суетливо дернулась, затянула на грудь сбившуюся простыню.

— Когда говорят?

— К двенадцати.

Старик подсел к столу, налил чай...

— Правда, верить-то им никак нельзя. Помнишь, Авдеичу-то она же, Лидка, сказывала, мол, в девять прибудет, а пароход в обед нарисовался. И ведь хоть бы что, а старика кандрат прямо чуть на пристани не сподобил. Лекарстки-то пила?

— Пила, пила, — поспешно отозвалась старуха, — да что толку, — хотела добавить вслед, но раздумала и сказала другое:

— Может, не поедешь. Чё в такую даль-то на палубе?

Старуху очень беспокоила поездка мужа, и здесь была своя причина. За всю свою немалую жизнь она ездила на пароходе всего лишь раз, точнее, даже на барже — большой, неуклюжей, насквозь пропахшей смолой, рыбой, канатами. Было это где-то посередке тридцатых годов, и многое выпало из старухиной памяти от той поездки, а вот ветер запомнился. Он сопровождал баржу до самого Киренска, настырный, густой, леденящий...

Старуха постоянно мерзла и, кутая двухмесячного Ваську, мечтала только об одном, о тепле, хоть маломальском, чтоб чуток сына обогреть да не дать пальцам своим промерзнуть до ледяного звона.

И теперь, невольно вспомнив ту «каторгу», которая едва не стоила первенца, старуха верила, и на полном серьезе, что старику придется ехать так же, как и ей когда-то, на каком-нибудь жестком ящике, посреди холода и тьмы.

— А, Афанасьевич?

— Ну?

— От ветра тогда хоть в какую ни есть норышку упрячься. И душегрейку надень. А может, все же не поедешь?

— Да уж собрался.

И старуха успокоенно вздохнула. «Чертяка. Все напрямки. Все без отступа. А ведь жизнь-то ломала, мать ты моя заступница, как ломала... Не хватило, знать, у нее силенок на Дмитрия, недостало».

И старуха сладостно, душой, улыбнулась.

Старик допил чай и, большим цветастым платком отерев взмокшее лицо, отвалился на стену. Однако старуха чувствовала, что он боится опоздать на пароход, нервничает, хоть и старается скрыть от нее свои преддорожные переживания.

— А ты иди, Дмитрий,— попадая в нить стариковских рассуждений, предложила старуха и приподнялась на локте,— а то и взаправду пройдет пароход-то.

— Ну, что ж, пойду, — охотно согласился старик и потянул со стула желтую

старухину сумку, — пойду я, — и уже с порога добавил:

— Не болей тут без меня, не разбаливайся, я мигом обернусь.

— Да ладно уж, поезжай, — старуха снова прилегла, ослабленно выдохнула, и легкие слезинки заслонили старика теплым туманом.

— Бог в помощь тебе, Дмитрий!

* * *

Уже в хороших сумерках старик насобирал несколько охапочек грязных, потоптанных щепок и, оттянув сапогом в сторону верхний слой завлажневшего галечника подле самой воды, смастерил небольшой костерок.

Было пусто и тихо. Слабо почмокивая, шевелилась в ногах зачерневшая река, подергивалась быстриной, будто пытаясь скинуть с себя голубоватые оладьи заматеревшего тумана, и хищно взблескивала в бледном свете одинокого костра своей тягуче-неспокойной плотью.

Ждать старику выпало около трех часов, и только в начале второго, кое-как выкарабкавшись из плеского баркаса, он оказался наконец на ярко залитой огнями палубе парохода.

На «Хабаровске» еще не спали. Повсюду гомонил народ, и старик малость, для ознакомления, потоптавшись в проходе, принялся присматривать место на ночлег. Зря беспокоилась старая — все оказалось как нельзя лучше, и уже через минуту-другую старик сидел на толстой и теплой трубе, покато выпершей из щиповатой палубы.

Место это оказалось, по мнению старика, очень удобным: по правую руку — два желтоватых титана с кипятком, напротив — высокие стеклянные двери.

Устроившись, старик вконец успокоился и, на всякий случай установив промеж ног сумку с припасами, принялся разглядывать людей. Старик откровенно дивился тому, с какой скоростью пассажиры сновали по палубе, с какими серьезными и сосредоточенными лицами они смотрели по сторонам.

И куда ж это спешат? На работу какую, что ли? Ну, скажем, если за кипятком — так это ясно. И таких старик примечал издали — в руках у каждого посудина: чайник, кружки, но в большинстве своем обыкновенные литровые банки, которые старуха за ненадобностью выбрасывает на помойку.

И ведь не спят! Чаи гоняют, хоть и время за полночь!

Набрав кипяток в большую темную бутылку, ушла востроглазая девчушка, и место у титана тут же занял высокий мужчина в золотистых темных очках.

«Примерно одногодок,— прикинул старик, разглядывая незнакомца, — а раздало-то беднягу, не приведи господь! Прямо как за грехи какие, а может быть, чё болит? Не зря ведь так отовсель повыперло... И человек-то, видать, немалый, начальник, поди, — ощупав ткань взглядом, неожиданно заключил старик и, выправив на колене скоробившееся трико, досадливо отвернулся: — Ну, чё ж, конечно, не нам чета! Ишь, в какую одежу влупился, такую, поди, и за пять пенсий не купишь?»

Пока старик рассуждал и прикидывал, место под краном опять освободилось, и его заняла высокая молодая женщина со взбитыми, будто подерганными волосами.

На ней был простенький голубой халат, одетый, видно, на скорую руку, поскольку от низа он был не застегнут сразу на несколько пуговиц и далеко, выше колен, открывал мускулистые черные от загара ноги.

Дешевая ткань сбила старика с панталыку, и он решительно привстал:

— Гражданочка, заваркой не угостите?

Женщина вздрогнула, словно не заварку попросил старик, а черт его знает что, но быстро одумалась и, опустив руки обратно на термос, лениво процедила:

— Вы что, дедушка? Да мы сами на дорогу кое-как выпросили!

Болтнув в воздухе пустой кружкой, старик сел ни с чем. Все верно, у кого попало не проси. Вот бы своих, деревенских повстречать, тогда бы дело было другое. Но таких, как назло, не было, и старик заметно томился.

Уже глубокой ночью, когда старик начал было задремывать, к титану подошли три парня. Высокие, загорелые, здоровые. И все в заплатанных штанах.

«Никак шабашники, — отметил старик, примеряясь со своей просьбой, — никак

с калыма валят. Ишь, довольные, аж блестят...»

— Чайку, ребятки, не дадите? — поймав, как показалось, удобный момент, объявил о себе старик и поспешно добавил: — Мне немного, только горло промочить... Часа три не пил...

— А может, тебе еще и ключи от квартиры, — повернувшись к старику, сказал крайний и подмигнул черным несмеющимся глазом,— где деньги лежат?

— Не-е, — машинально отозвался старик, не зная, как вести себя дальше, — зава...

— Да ты не стесняйся, дедок, мы тебе и девочку можем предоставить, если, конечно, еще того...

Зря попросил. И поделом. Не суйся куда попало. Старик сел на прежнее место и, отвернувшись от пересмешников в противоположную сторону, принялся ковыряться в сумке.

— На, возьми, — тронул за плечо тот, с остановившимися глазами, — бери всю. Только уж извини, грузинский, другого не имеем.

— Какой разговор, ребятушки! Уж и не знаю, как вас благодарить. А может, сальца,— старик вслепую торкнулся в сумку, — своего, домашнего?..

— Не надо, батя, пей чай за здоровье киевлян, вот и все, лады.

«Шабашники, шабашники, — уверился старик, прихлебывая чай. — Пересмешники, а ребята, видать, правильные, не все в деньги всосало».

Машинально и без особой охоты старик прижег папиросу, обернулся к черному стеклу дверей, мимо которого неслись ленты разодранного тумана, и впал в безрадостные раздумья.

«Конечно, никто не говорит — работать они умеют быстро, но какие деньги при этом кладут в свой карман? Ведь ужас берет!

А свои-то, каменские, и не хуже вроде ничем, и из государства того же, а получать пойдут — шиш торчит из ведомости, а не зарплата!»

Успокоив себя тем, что не те каменские мужики, чтобы дать себя в обиду, даже вот в таком щекотливом деле, старик малость поостыл и привалился к подрагивающей стене.

Старик спал, но слышал при этом и стук машин, мелко дергающих пароход, и топот неосторожных ног, и шум волн, который достигал его всякий раз, как открывались двери, ведущие на борт судна.

А пароход шел так же: небыстро, но напористо. Обваливались по обе стороны черные валы. Бился и шипел светящийся след. Оплавливались берега, обожженные туманом...

И вдруг старику показалось, что это вовсе не пароход, а большой белый остров, который сорвало с места и несет Леною на острие непроглядного мрака. Несет без разбору, в куче, как есть: с лавками и титаном, с начальником и с востроглазой девчушкой.

Старик пытается разглядеть берег, чтобы хоть примерно узнать, куда же все-таки тянет эту махину, но ничего не видит, однако, знает точно одно, что все дальше и дальше утягивает его от родных берегов, все дальше и дальше уносит от Каменки и от старухи...

«М-мм», — испуганно дернулось сердце, и старик верит, что вот так просто и легко размыкаются его пути со старухой и размыкаются навсегда.

«А девчушка как же? — как за соломинку хватается полусонная мысль. — А ей-то куда? Ей-то рано. Не достигла она еще берега своего и с другим пароходом и ночью другой придет к своему невозврату».

От этой мысли старик молча расслабился и слышал теперь только одно, как за тонкой перегородкой, сопя и пофыркивая, мотались здоровые железяки, все дальше и дальше в темь уталкивая пароход.

Потом сгасло и это.

* * *

По зарозовевшим дверям старик определил время, разбито полез с лавки и заварил чай. А когда с завтраком было покончено, насупясь и тихо покашливая, принялся наблюдать за людьми.

Шли они в основном, как и раньше, за кипятком. Вот к титану, сладко позевывая, подошла высокая девушки. На ней была надета светлая кофточка и бледно-голубые брюки, которые всезнающая Сорочиха называла странно, не поместному «жинсами».

Поймав узким горлышком бутылки парящую струю, девушка испуганно замерла: оттопырились побелевшие от напряжения пальчики, напряглись сытые, широко расставленные ноги.

«Ладная», — с удовольствием определил старик и невольно залюбовался девушкой. И ведь было чему! На такую барышню по-ранешнему-то времени парни молились бы почище, чем на икону.

А идет-то как? А идет-то как? Одно слово — красота!

Проводив взглядом девушку, старик не заметил, как на лавку опустилась крашеная пассажирка. Была она со стариком примерно одного возраста, под семьдесят.

— Я вам не помешала? — подвернув полы длинного плаща, поинтересовалась старушка и покачала головой. — Не нарушила покой своим вторжением?

Старик молча отодвинулся на самый край сиденья, давая тем самым знать, что все в порядке, что она ему не мешает и мешать не может.

Гражданка благодарно вздохнула и, выставив между собой и стариком большую сумку, тихо спросила:

— Путешествуете или так, по делам едете? Едете, спрашиваю вас, по делам или так, путешествуете?

Старик наконец отвел глаза от большой серой шляпы, замысловато обвитой поверху искристой черной сетью, как вроде от комаров, и поспешно ответил:

— В город еду, по делам.

— В какой же город? — гражданочка чуть подалась на старика и шаркнула ногой. — Если не секрет, разумеется?

— Какой же из этого секрет? — искренне удивился старик,— В Ленск еду. Тут рядом, — и старик махнул рукой, словно давая знать, настолько рядом, что вот так запросто можно подать рукой.

— Ленск? Фи! — гражданочка обиженно завозилась, всплеснула сморщенными руками. Перед глазами старика жарко и солнечно мелькнуло несколько мощных перстней. — Фи! — снова повторила незнакомка, чуточку обождав, и скребанула палубу неспокойной ногой.— Разве это город? Вот у нас в Алма-Ата... Вы были в Алма-Ата?

Пассажиры начали приостанавливаться возле стариковой лавки, а один костлявый мужик, его старик разглядел лучше, какой-то весь крученый, в застиранной, обвисшей до самого пупа майке, аж шею свою пупырчатую вперед вытянул, чтобы, значит, разговор лучше слышать.

Не зная, что предпринять, чтобы гражданка поскорее ушла и не мутила душу бестолковым разговором и не выставляла людям на посмешище, старик заерзал на лавке.

Гражданка, однако, не заметила беспокойства своего попутчика и спокойно продолжала:

— Так вы, товарищ, были в Алма-Ата или нет?

— Нет, не был,— резко ответил старик и потянулся к чаю.

— Вот это город, — снова ничего не заметила соседка, — дома-а, люди все интеллиге-ентные. А здесь ни театра, ни цирка, ни филармонии...

Старик собрался было возразить, что, мол, ничего, и без цирков росли и людьми были, если и не лучше нынешних, то, по крайней мере, не хуже, но сказал другое:

— А зачем нам театр?

Гражданка не ответила и, сморщив лицо, неожиданно звонко засмеялась:

— А вы как? С супругой едете или один?

— Один.

— Вдовствуете, значит? Вот и у меня, как умер Иван Прокопьевич...

Старик не дал договорить и резко перебил:

— Я не вдовствую. Жена у меня дома, в деревне.

— А-а, ну это дело другое. А вот я одна. По родным езжу. Сейчас была у племянника на свадьбе. Сам-то Якутск плохой, а вот свадьба получилась шикарной.

Старик молчал. Гражданка ему надоела вконец, и теперь, тупо глядя на замусоленную палубу, он не знал, что сделать, чтобы она поскорее ушла. Может, сматериться? Не сильно и вроде как ненароком? Пока старик обдумывал этот вариант, а он ему показался очень подходящим, гражданка встала и, немного помедлив, подала ему большую плитку шоколада:

— Возьмите, шоколад тонизирует... В «Здоровье» один профессор писал...

Старик взял подарок и неловко поблагодарил.

— Не стоит. А я еду там,— не останавливаясь, на ходу гражданка ткнула пальцем в пупырышки нечистого потолка и снова прищелкнула языком,— еду первым классом... — И, не попрощавшись, ушла.

С уходом гражданки нахлынула опустошенность. Она навалилась внезапно и полно. И душа старика нудно и холодно закачалась в такт пароходу. И старику стало безразлично, скоро ли его берег, не опоздает ли пароход. В неодолимом безразличии он смотрел сквозь стекло на палубу, смотрел туда, где, подвывая от боли, сшибался с железом холодный и гибкий ветер, и ощущал сильную тяжесть. Она жила в каждой точечке тела и мягко, не настойчиво надламывала, валила старика. Но странно валила: помимо парохода и помимо всего. Дернулось сердце, прикоснувшись к бездне — не удержалась, застонала, душа.

А как же пароход? Вот он, рядом гудит, огнями светит и все так же расчетливо и настырно скользит себе в черноту, не замечая его, отставшего ото всех пассажира...

В крепко стиснутых пальцах шоколад начал таять. Старик вздернулся и, открыв глаза, вспомнил, как мечтал подле костра, на берегу, пройтись по пароходу, посидеть наверху в мягком, укачивающем кресле, и, может быть, гх-гх, сходить в ресторан. Вспомнил и только улыбнулся этим своим мыслям. Все верно. Все так. Пароходы, как и многое другое, хороши и радостны только издали. И это факт!

Разглядывать людей старику надоело. Уложив шоколад в сумку, а пиджак себе под голову, старик приладился спать.

Разбудил долгий и сочный гудок. Суматошно вскочив на ноги и поняв, что это не Ленск, старик коротко выматерился и, опустив руки на лавку, замер, давая покой захолонувшему сердцу.

Но время высадки все же подходило, поскольку с борта доносились хриплые голоса недоспавших пассажиров, а машины под боком, словно учуяв передых, замолотили мощнее и туже.

Успокоившись, старик уложил в сумку остатки еды, тщательно ополоснул кружку. Затем прибрал место, выбросив клочки замасленной бумаги из-под пирожков в небольшую железную урну, сплошь облепленную слитой заваркой.

На борту, у голубеньких двустворчатых ворот густо толпились люди. Старик приладился было к ним, но заметил знакомую гражданку. Она стояла в стороне ото всех, тяжело облокотившись локтем о вырез закрытой кассы. И жило на ее лице то загадочное выражение, с которым даже посреди ночи выходят пассажиры из обжитых кают, чтобы ради скуки, а может, чего-то более высокого, постоять поблизости от чужой пристани, посмотреть, кто выйдет, и, скорее всего, навсегда растворится в толчее дебаркадера, а кто, суматошно шаря глазами, рванется с берега на влажные хлипкие сходки и распечатает новую свою дорогу.

Старик видел, что гражданка завидует тем людям, которые, достигнув своего берега, отрешились и от парохода, и от каюты с ее острым неистребимым запахом, и от случайных знакомых, с кем еще совсем недавно вели свои задушевные беседы. От всего отошли и обернулись всецело к дому.

И старик вспомнил и торопливо, боясь опоздать, ткнул сумку на огромный фанерный ящик.

— Возьмите, — смущаясь, протянул гражданке небольшой сверток.

А та, завлажнев блеклыми глазами, подалась руками вперед, словно протестуя.

— Возьмите, возьмите,— настаивал старик. — Алма-Ата далеко, а вам может сгодиться. Сам растил, сам колол...

Гражданка взяла подарок. Хотела что-то сказать, но старик поспешно, чтобы не дождаться слов благодарности, торкнулся спиной в толпу. Толпа хрумкнула старика, и он, властно увлекаемый ее силой на противоположную от гражданки сторону, услышал за спиной громкий, чуть сиповатый голос...

— Приползла наконец? Ну, дает!

Старик обернулся. Возле перегородки выкобенивался молодой парень. Наверное, музыкант. Поскольку в одной руке он держал разрисованную гитару, в другой — магнитофон.

Парень добродушно улыбался черными глазами, но старик видел, как из не-

видимых, постоянно изменяющихся в цвете глубин шла и проступала в зрачках холодная блесткая морось.

— Ну, ползи, ползи...

И девушка, цепляясь ногами за два больших чемодана, послушно подошла. Та самая, в голубой кофте.

Криво усмехнувшись вступившей в грудь боли, старик вспомнил внучку и задохнулся от горечи. «А она-то как же? А она-то чем окружена, огорожена от таких вот баламутов?»

Не зная зачем, старик дернулся в сторону парня, но тут толпа снова пришла в движение и коряво поволокла его в своем распаренном нутре на заскрипевшие сходни. Сумку вместе с рукой завернуло встречное течение. Как можно мягче, чтобы не отодрать слабые ручки, старик потянул ее на себя. Тут же он почувствовал под ногами неверные, вдавливающиеся при ходьбе доски настила.

* * *

Аптека оказалась неподалеку от дебаркадера, метрах в трехстах по берегу.

Аккуратно ошоркав о ребристую железяку подошвы сапог, а потом для верности постучав ногами о бетонную отмостку, старик наконец решился и открыл высокую желтоватую дверь.

— Вам что?— из-под высокого белого колпака на старика глянули большие задумчивые глаза и тут же уткнулись в книгу.

Вопрос был задан таким тоном, что старик не на шутку забеспокоился, так ли он все делает, не допустил ли по незнанию городской жизни какой-либо оплошки.

И окончательно вспотел, пока нащупал в самом глубоком и самом надежном на сохранность кармане старухины рецепты.

Легонько хекнув в пухлый кулак, девушка взяла бумажки и, что-то наискось начеркав на них, не поднимая головы, обронила:

— 7-60.

— Как говорите, девушка?

Аптекарша протяжно вздохнула, словно какая-то непостижимая для старика мука окатила ее с головы до пят.

— С вас семь рублей шестьдесят копеек,— по слогам повторила она, нервно, но по-кошачьи мягко скребанув разрисованную страницу накрашенными ногтями.

— А-а! Пожалуйста.

Старик поспешно сунулся в гаманок, который временно, на период поездки, дала старуха и уже протянул было в окошечко три скомканных трояка, как девушка, опять страдальчески застонав, ткнула пальцем в противоположный угол:

— Вон туда. Не мне.

В кассе вместо денег старик получил небольшой серый талончик, а по нему — лекарства.

— А как их пить, девушка?

— Так ведь там все указано, или вы читать не умеете?

— Да нет, умею...

И тут неожиданно для себя старик принялся благодарить обеих работниц, благодарить горячо и честно, словно вот так разом, как по мановению волшебной палочки, отвели они от старухи все ее неотступчивые хвори и на многие годы вперед освободили и от бессониц, и от тревог, и от многочисленных болей, попеременно появляющихся в ее небольшом изработанном теле.

* * *

Старику опять подфартило. Вроде под руку, а на самом деле по расписанию вывернулась «Заря». И все мысли старика разом обернулись к дому.

«Как там старая без меня? Скучает небось? Не разболелась бы только еще сильней, а поскучать — это ничё, это не вредно...» — оглаживая красную, нагревшуюся через стекло кожу сиденья, рассуждал старик и, улыбаясь, представлял себе, как внезапно нагрянет, как дверь распахнет и как через порог ступит.

— Ну, как ты, мать, тут без меня?— скажет, прилаживая на лавку раздавшуюся сумку, а потом, маленько выждав, шагнет к постели и высыпет прямо на кровать все гостинцы, а сам чуточку отступит в сторону, чтобы свет не застить и лучше видеть радость на старухином лице.

А та молодо закраснеется и примется причитать:

— Ну-ну, что же ты наделал, лешак

окаянный... Ну чё ж ты это так пораст-ратился?

А на деле все оказалось иначе. Когда старик, тяжело сопя, вылез на бугор, то сразу увидел копающуюся в огороде старуху.

Старик закашлялся и, поймав рукой кол, навалился на изгородь.

— Полегшало, говоришь?

— Да, вот, малость... Вышла посмотреть...

— Да уж вижу.

Старик обошел изгородь, распахнул калитку и остановился посреди чистой ограды.

Изба, поленница, поварка, баня. И только сейчас, как никогда, остро старик почувствовал, как это все дорого для него и как близко. Будто именно на этом клочке земли и более нигде существует покой и радость, о коих только может мечтать всякий человек.

Стариковы глаза ласкали каждую травинку, ровно и зелено подтянувшуюся из-под подгнившего забора, и даже бахромистый ядовито-зеленый бурьян, цепко и округло выперший из-под крыльца, радовал глаза и успокаивал душу.

И сутки, если, конечно, не считать лекарства, показались старику зряшными, попусту вычеркнутыми из жизни, потерянными за так, без всякого на то высокого смысла. Поскольку в них не было той радости, коей полнится каждый стоящий день. А была одна сутолока, которой и нервы жжешь, и горишь взаправду, а обернешься посмотреть, для чего же все делаешь, волглым туманом пахнет отовсюду, словно ничего и не было.

Но теперь хорошо. Но теперь снова все вошло в свои берега, и день завтрашний будет таким, как надо.

Посапывая и довольно щурясь, старик топтался подле поварки, поджидая старуху.

— А я, как знала, что приедешь,— чайку заварила свеженького, Люська принесла, сказывала, что хороший, вьетнамский, что ли,— забегая вперед старика, зачастила старуха.— Ты ведь, поди, и не ел ничего?

Старик не стал обманывать и, вспомнив свой суматошный отъезд из Ленска, покупку билета буквально за минуты до отхода судна, утвердительно мотнул головой.

— Сейчас накормлю.

Отворив дверь, старуха прошла к печи, а старик сел возле входа на лавку и закурил «Беломор».

Он не курил всю дорогу, поскольку в салоне курить не полагалось, а идти вперед, где за узенькими двустворчатыми дверями гомонили мужики, старику не хотелось — побоялся за место, которое могли занять рассевшиеся прямо в проходе подозрительно вежливые и разве только чуть подвыпившие ребята.

Тихо и неслышно дотаивал в воздухе свет. Откуда-то из-под избы выплыли первые тени и расчертили ограду.

Временами с реки напахивал легкий теплый ветерок и приносил в себе нехитрые запахи мокрого ила, свежей рыбы и высоких лиственниц, что, прикорнув на рыжих ломтях срезанных скал, горели в огне падающего заката.

И старик с радостью подумал, что уже успел соскучиться. И ему даже почудилось, что не будет всему, что вокруг, ни конца и ни края. И мир не уйдет из него полностью и прибудет хоть в малой крупице своей даже там, за чертой изначальной, за стрелкой небытия.

— Чё, старый, задремал нечай?

Старик обернулся на голос.

— Зову-зову, — подивилась старуха,— а ты не отзываешься. Заснул, чё ли? Уж все готово!

Старики любили в тиши и ладе посумерничать в теплой полутьме поварни. Свет обычно не зажигали, хватало того, что дарили небольшое окно да распахнутая настежь дверь.

Особенно хорошо было в дождь. Дождь шуршал по крыше, по пересохшему корью, плакало окно, кое-где по тонким стенам просачивалась вода, а подле потрескивающей печи было еще уютней, чем в вёдро. И старики подолгу (иногда до утра) просиживали возле огня в единении и молчаливом согласии.

Старик взял в руки кружку, склонил к самой столешне чуть позванивающую от дороги голову.

— Полегчало, говоришь, а я целый кузовок лекарсток припер. Попьешь вот их — и новей новой станешь.

— Да ну тебя, — старуха махнула

ложкой, но словами осталась довольна и, улыбнувшись, показала на рюмки, — может, выпьешь маленько, с устатка?

Старики выпивали частенько, но понемногу. Самую малость. Чтоб только чуть-чуть зашумело в голове. Так вроде думалось чище и говорилось попросторней. И еще. Это для стариков была своеобразная нить, которая хоть и не совсем ладно, но связывала их с остальным молодым и здоровым людом.

— Маленько можно, — разом оживился старик и принялся выцарапывать из пачки новую папиросу.

Вино было прохладным и сладким. В самый раз. Старик выпил первым, потом старуха прижалась сухонькими губами к самому краешку малюсенькой рюмки. Молча закусили: старик — «беломориной», старуха — брусникой. Немного помолчали.

— Ну, сказывай, как там в Ленске, поди, большой уже стал? — подальше от себя оттолкнув рюмку, поинтересовалась старуха.

Старик ответил не сразу. Да и говорить в общем-то было не о чем. Город да город, каких, поди, и не пересчитаешь по всей земле-то. А для старухи, где не была, — все рай. И люди не люди, и дома не дома. Прямо царство небесное, а не жизнь. И ведь сколько годков провела на земле, а глаза свои так и не разула.

Немного подумав, старик рассказал о молодых. Старуха слушала, не перебивая, изредка и аккуратно цепляя маленькой ложкой большие, чуть примятые по бокам ягоды.

— Чё ж деется? — отложив ложку, отвернулась от стола и затеребила фартук. — Чё ж это деется? — снова повторила нараспев и повернулась к старику.

— А красивая дева-то?

— Красивая.

— А молодая?

— Молодая.

Старуха ненадолго замолчала, а потом, словно обо всем позабыв, достала из-за ширмочки бутылку и теперь уже до краев наполнила рюмки. Взяв свою, старик посмотрел на окно. Тени росли, обваливались с веток березняка, текли с крыши дома черным дождем. Но темень была не тягостной, а теплой и душистой. Старик это чувствовал по легкому дыханию вечера, который, мягко ступая, упруго входил в незапахнутую дверь.

— Лекарстки-то пей аккуратно, — снова наклонившись над столом, напомнил старик, — как прописали, значит.

— Да уж надо пить, раз доктора велят. А так подумаешь, что они мне? Поди уж, как мертвецу припарки. Эвон, молодых косит...

Старик не перебивал. О смерти старуха говорила не раз, и не было в этом ничего необычного. Слишком долго плыли они со старухой в одной лодке. Да так долго, что, почитай, достигли предела своего, который, того и гляди, вымахнет из-за недалекой теперь излучины. Но дело совсем не в этом. А в том, чтобы подольше продержаться в этой лодке, не перевернуться раньше времени на стремнине-то, не насмешить напоследок людей.

Но почему подольше?

И ответ приходил сам собой, словно лежал рядом на полочке. И старик в его правоте был уверен на все сто процентов. И просто выходило по нему, сколько ни живи человече на земле этой грешной, сколько ни береди ее ногами, все одно мало будет отпущенного срока. И неистребимым будет самое великое и самое заветное желание — жить. Жить хоть в грязи, хоть в нищите и в коростах, но жить.

— Ты, старуха, этак не думай, — сказал старик вслух совсем другое, чтобы не портить зазря вечер, так хорошо и радостно разлившийся за спиной, — не думай так. Да мы с тобой... Ну-ка, плесни маленько, — приняв рюмку, старик откинулся на зашуршавшую стену и полузакрыл глаза. — Мы с тобой, Елена Никифоровна, еще поживем, ох и поживем. Вон-де, — старик показал глазами на сумку, — лекарстки попьешь — и пойдем мы с тобой на Теллях. А, как думаешь?

Старуха обиженно сморщила губы:

— Да куда это ты меня, старый, приспосабливаешь? Разве я когда дойду до озера? Уж и не помню, когда и была на ём в последний раз. Да ну тебя, старого!

Будто рассердившись, старуха пос-

пешно вышла из-за стола и отодвинула в сторону кусок рваной по краям жести, который заменял на печи дверцу. Огонь выпорхнул из жаркого малинового нутра, облил старуху светом, и поварка, разом зарозовев, словно обронила стены свои, стала светлей и просторней.

— Да мы с тобой еще хоть куда! — все еще находясь в плену нереальной очарованности, зачастил старик.— У-у-у! Помнишь протоку возле Тампе? Ну, когда дождь-то еще нас застал?

— Ну, — подбросив пару сухих щепочек, старуха села на свое место за стол.

— Что, ну? Ну там еще теленок утоп, этих, как они... Ну на бугру, напротив Слепченко жили... Как же, как же... Да у них еще парень запропал, в Одессе, что ли?

— Но-но.

— Вот туда сходим. На самое Тампе пробежимся. Там ведь совсем рядышком, километра полтора... Рыбки подловим, а может, и на рябчика повезет... Помнишь, как раньше карасей-то вылавливали?

— В сене, спали, — подхватила старуха и запнулась, покраснела, будто уличила себя в чем-то.

Но старик этого не заметил.

— Вот-вот, а какие ночи-то были, тишина, а на траве роса, роса...

Старику вдруг на полном серьезе стало казаться, что они, как бывало раньше, сгоношат по вечеру котомку и уйдут утром по лесной дороге навстречу всходящей заре...

— Эх, Еленька, да мы с тобой...

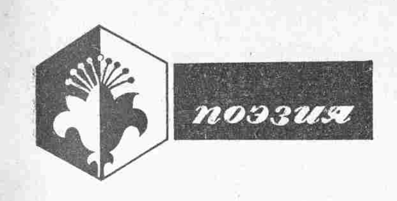
Старики еще долго сидели в мягкой тишине, наслаждаясь спокойной и могучей тишиной обступившей ночи. С одной стороны их обдавало мягким древесным теплом пощелкивающей печи, с другой — вкусной синью настоявшегося на травах воздуха. И даже в этих противоположных потоках, которые сталкивались подле дощатой двери неподалеку от стариков, значилось и читалось что-то высокое и хорошее.

Старик смотрел за окно, выхватывая обострившимся зрением знакомые до черточек предметы и вспоминая о дороге. И старик вдруг понял, что очень много важного он недоделал в жизни своей. И, возможно, оттого, что к делам своим главным относился когда-то с прохладцей, не совсем ладно жилось теперь людям, которых старик, поочередно выхватывая из памяти, равнял на свою судьбу. Чтобы как-то сгасить горечь, старик потянулся к бутылке, но старуха мягко и настойчиво перехватила его руку:

— Пойдем, Дмитрий, ведь умаялся, поди, с дороги... Да и я ног не чую... Пойдем... вот так...

И старик обрадовался, что голос жены как всегда просто и точно вернул его в круг привычного душе мира.

В ограде старик неожиданно остановился, и, подняв отяжелевшую голову, посмотрел на дом. Он лежал во тьме и густом тумане, который туго шел от земли, будто торопясь выйти через все ее вдруг раздавшиеся поры. И, наверное, от этого сплошного тумана изба повисла между звездами и ничем. Но стояла на месте. Она будто ждала, чтобы после того, как войдут старики, слабо скрипнуть подгнившими половицами, вздрогнуть, оторваться от земли и взойти темным облаком в непостижимо сладкие дали, где нет места ни раздумью, ни горечи, ни одиночеству, потому что нет ничего.



Владимир КОРНИЛОВ

В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

Соборов каменную вязь
Не тронула столетий плесень.
Здесь солнце, в куполах смеясь,
Звенит, как золотая песнь...

А сам язык колоколов
Однажды Русь встревожил звоном.
...Сермяжный люд, припав к иконам,
Со страхом ждал набатных слов...

И грозный воин Дмитрий-князь
Пред тем, как стать ему великим,
Здесь целовал святые лики,
Народу в верности клянясь.

...Стонать бы родине еще —
Платить в плену ясак татарский,
Да только тот призыв бунтарский
Все повернул на новый счет...

Не раз еще колоколам
Пришлось будить народ на битвы.
...И люд простой шептал молитвы
Злаченым в небе куполам.

УСТЬ-КОДА

Как столетье назад,
Избы все здесь
покрытые тесом
И у женщин в глазах —
Синева, отраженная плесом...
На задворках судьбы,
В этом тихом таежном местечке
Незатейливый быт
С телевизором,
с баней у речки...
От столиц вдалеке
И от их суматошного грома,
С миром связь по Оке,
Да и то лишь паромом...
Сыновья-города
Пусть деревню за это не судят...
Усть-Кода! Усть-Кода —
Островок человеческих судеб.



Стоят поруганные рощи.
Не веселит их птичий хор.
Где лес шумел в зеленой мощи,
Теперь хозяин здесь топор.

Пойдет направо — смерть деляне,
Налево,— глянь, и там пустырь!
Как будто инопоселяне
Пришли хозяйничать в Сибирь...

К природе с первых дней доныне,
Затеяв в ней беспечный пир,
Черствее стали мы в гордыне,
Пытаясь переделать мир.

□ □ □

НТР — уж тут не до идиллий:
Телетайпы день и ночь трещат.
Ритм такой мы в городах взвинтили —
На бегу и «здравствуй», и «прощай»...

В суете столиц не разминуться,
Чтоб плечом кого-то не задеть.
Виновато после оглянуться,
Но лица уже не разглядеть.

...А у нас — к востоку от Урала —
И народ посдержанней, и быт.
Мы решаем те же интегралы,
Но с поправкой собственной судьбы.

Здесь, следя за жизнью нашей прессы,
Ежедневно слушая эфир,
Видим мы, как борются конгрессы
Против войн...
И как встревожен мир.

Но, решая сложные задачи
Новой исторической судьбы,
Мы за революцию!
И значит —
В душах перестраиваем быт.

Владимир Васильевич Корнилов родился и вырос в с. Октябрьском Челябинской области. Служил в рядах Советской Армии. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал токарем, слесарем, шлифовщиком, начальником смены. В настоящее время работает преподавателем литературы в СПТУ № 63 г. Братска.

Стихи печатались в журнале «Студенческий меридиан», в альманахах «Сибирь», «Поэзия», «Истоки», в коллективных сборниках «Байкальский меридиан», «Мы — братчане», «Молодая гвардия-85», «Тверской бульвар, 25», «Молодая гвардия-87».

В 1984 г. в кассете «Бригада» вышел первый поэтический сборник.

Владимир Корнилов—неоднократный участник конференций молодых литераторов Иркутской и Читинской областей «Молодость. Творчество. Современность».



Галина Афанасьева

Живая старина

До Лены я добралась уже к вечеру. Горящее небо дробилось в диких волнах Лены и всполохами отражалось в окнах домов, вольно в один ряд раскинувшихся по береговой линии.

Казалось, что небо, тайга, река, деревня были охвачены каким-то всеобщим пожаром.

Это был добрый знак. Здесь-то я и познакомились с Натальей Степановной Томшиной, или, как называют ее односельчане, теткой Натальей.

Тетка Наталья — из тех людей, которые не сразу и не вдруг, с порога могут пуститься в откровения с чужим захожим человеком. Она сначала прикинет, приглядится, пообвыкнет, а уж потом, немного узнав его, вступит в разговор, обещающий искренность и доверительность.

В течение дня тетка Наталья с пристрастием расспрашивала меня, кто я, откуда, с какой оказией в их краях. Удивлялась тому, что я приехала сюда за стариной, собирать сказки, былички, бывальщины, песни, частушки, обряды; называла это пустым делом, хитро посмеивалась и все, как я ни убеждала ее, не верила, что это представляет для нас, грамотных, ученых людей, духовный интерес.

Тетка Наталья была уверена, что моя поездка в их края — чистое недоразумение. Ехать в такую глухоманную даль, за много верст, к черту на кулички, чтобы послушать неграмотных стариков, смотреть, как они будут шамкать никому не нужную старинку — это казалось ей невероятным.

— Чудно́, — смеялась она, — ей-богу, чудно́.

Мало-помалу она утихомирилась, надеясь, видимо, на то, что я скоро и сама, по мере знакомства с ней, обнаружу несостоятельность своего приезда, как говорится, воочию увижу, что она, тетка Наталья, и в самом деле темная дремучая старуха и что ничего потявого не знает.

Да что она может знать-ведать, когда вся-то ее жизнь прошла в заботах-хлопотах. Жила — не цветы рвала. Сколько помнит себя тетка Наталья, присесть было некогда, все горбилась, с утра до вечера пласталась, продыха не зная. Работала — звезды сыпались из глаз. Сызмальства трудилась. Сколько пережиток пережила. После смерти отца бог почти следом прибрал и мать. Наталья на девятом годке осталась одна-одинешенька, как обсевок в поле.

Не завидуйте, товарочки,
Сиротскому житью.
Что в поселке не случится,
Все валя́т на сироту.

И пошла она в кусочки по людям, прибивалась то к одному, то к другому дому. Кто пожалостливее, к мытью приме́стит, к побелке, копке, стирке, дойке — тем и кормилась. Так и колесовала в поисках хле-

ба и пристанища от деревни к деревне.

Ей бы, птахе безродной, кружить так век и кружить над чужой неволей, если бы однажды Наталья не набрела на махонькую избенку, что на отшибе деревни горбилась: пройдешь — не заметишь, бурьяном заросла, только тропка едва приметна. Вошла в избушку — сыростью обдало, нежилым потянуло. Не дом — могила. А в углу старичок худенький, мозглющий: день—упадет, в чем только душа держится.

— Болею,— говорит, — спину ломит, будто кто лом в развороте внутрях держит.

Уж который день не встает, к топчану прирос. И ухаживать за ним некому, родных нет, один как кочка в поле. Ладно что соседка Ефимья не забывает, нет-нет да заглянет, когда и горячего плеснет.

Деда Викентия одолевали мрачные мысли. Ему все казалось, что он уже у края жизни.

— Помру, видно, — наговаривал он, — отчасовал. Смяли бурку крутыя горки.

Защипала Наталью жалость. Она ему:

— Чё же, дедушко, раньше смерти помирать? Живи. Бог успеет — приберет еще. А что хворь-то ваша, так мы ее махом выбьем.

Припомнила тут Наталья, как мать ее, покойница, еще живая была, тяте спину лечила. И, чтобы дух поднять старику, вселить в него бодрость, стала она хлопотать. Сбегала в лесок (он тут, за огородом — рукой подать). Нашла осиновую щепку, взяла топор, а деду Викентию приказала поперек порога ложиться. Сама же на спине у него стала осиновую щепину ту будто рубить-тесать.

— Чё рубишь? — спрашивает старик.

— Утин рублю, дедушко, — отвечает Наталья.

— Но-о, да ты шибче, деука, руби, чтобы не было его.

— Рублю, рублю, дедушко. Прочь уходи, окаянный, через порог.

Три раза так сделала Наталья, и так и этак на́стовала старика — и, подумай, диво: хворь как рукой сняло. Одыбал дед, забегал тут шустрее ветра, душа винтом. На радостях и говорит Наталье:

— Да, ты, я вижу, деука, казимая. Оставайся, коли глянется, живи. Места много, есть где разгуляться. Одному-то лихо. Вдвоем все веселее.

Наталье и думать не надо, глубоко в голову брать — осталась.

Рада-радешенька, что кров обрела, приют. Душой унялась да давай дом прибирать: пол песком вышоркала, стол, лавки выскоблила. Заборки покрасила, нарисовала-наветвила кусты на них, голубей посадила, потом травку пахучую на огороде собрала, дом обрядила-освежила. Живым запахло. И стали жить две горемыки не хуже лапотного лыка.

С дедом Викентием жить можно. Он легкий на разговор, подъемный. Язык у него, что тальянка, днями молол. Бывало, как сморозит, но ни вон ни в избу, уморит. Прибаутками тешил все.

Но больше всего старик удивлял Наталью знанием бесчисленного множества примет. В его представлении все происходящее в окружающем мире — в природе, в быте, в человеческой жизни связывалось какими-то таинственными нитями, одно вестило о другом.

Старик, казалось, был из тех стародавних языческих времен, когда человек всецело отдавался матери-природе, от которой зависело все его жизненное благосостояние. Когда люди с усердием и любопытством всматривались в небеса, следили за движением солнца, луны, далеких, манящих к себе звезд, наблюдали за цветом утренней и вечерней зорь, прислушивались к глухим раскатам грома, улавливали тонким слухом едва ощутимые порывы ветра, замечали весеннее освобождение ликующих рек ото льда, распускание деревьев, обновление их кроны. Во всем видели предзнаменование, перемену. Месяц на боку — к морозу, на рогу — ко снегу, утренняя заря горит — к дождю, солнце закатывается в рукавицах — к морозу, луна бледная, коровы мычат, лягушки квакают, рыба на воде играет — к дождю, пыль столбом поднимается — к урожаю, птицы дружно на гнездо летят — к дружным всходам, в январе небо звездное с блестками — к поздней вес-

не, собака воет — к покойнику, полы мыть в дорогу — следы замывать, на порог садиться — порочить будут, курицы дивуются — к диву.

Многознающий был дед Викентий. И тайными словами владел. Но худого никому не делал, все во благо старался, на пользу.

Раз, это при Наталье было, свадьба из одной деревни в другую проезжала. Доехали до раздорожицы, что за деревней недалеко, у протоки. Кони ни с того ни с сего встали в дыбу, березкой, и дальше ну ни в какую не идут. Понапрасну хлестали вожжами — только запарили. Пена с них клубами валит, а они ни с места. Что делать?

Осенило тут дружку к деду Викентию бежать. Врысь доскакал. Наталья в куте хлопотала, слышит, старик засобирался быстрехонько, фуфайчонку на плечи надернул, в сапоги ноги вставил и пошел.

Приходит к поезду свадебному, кошелки перетряс и в одной из них волосы нашел, гривные, от коня, переплетенные и клубочком свернутые. Ну, известное дело, хомут кто-то накинул.

Он те волосья домой принес, в щель заколотил, законопатил и ближе к вечеру слово молвил, на закат:

Вечерняя заря Мария! Подойду я к тебе поближе.
Поклонюся тебе пониже.
Встану, благословясь, пойду, перекрестясь,
Из дверей в двери, из ворот в ворота.
Выйду в чистое поле, к частым звездам умчусь,
Ясным месяцем подпояшусь.
Пойду в океян-море.
В океяне-море лежит беломор-камень.
На том камне стоит божья церковь.
В той церкви сидит матушка-пресвятая богородица
И держит на руках своего чада, царя небесного.
И укрывает его нешельской рукой.
Попрошу усердно: «Мать-пресвятая богородица,
Батюшка, сын божий, помогите-пособите
Твоему рабу (имя рек).
Верховой хомут ветром выдуй,
Нутряной хомут громом выгреми,
Резучий хомут молнией высверкай».
Будьте все слова мои исполненыя,
Крепче липучей серы, клейче клею.
Замок в роте. Ключ в море.
Аминь. Аминь. Аминь.

И что ты думаешь? Отлишил ведь. Кони-то в три кнута пошли.

Но дед Викентий и от родимца знал, и от испуга, и от грыжи, и кровь остановить мог, и рожу, и лишай лечил, и как в семью лад принести, тоже знал. К нему народ валом валил. Отбоя не было. Никому не отказывал. Помогал. Его докой так и звали в округе.

На ум Наталье пала только малая толика того, что ведал старик. Всего сейчас она и не припомнит — память стала плохая, дыроватая.

У деда Викентия жилось как у Христа за пазухой. После долгих бесприютных лет Наталье казалось, что она в сыр-масле купается, облезня́ лапки живет.

А там время подошло и замуж пошла. За парня, что в соседней деревне — Матюшине. На хорошем счету был, на славе. Любила? Да какой любила! Жила. Жить-то надо. Хороший был, ничего не скажешь. Не обижал. Ругались? И это было. Человек — не ангел. Бывало, начнешь ругаться — только шишки воют. Но так-то редко. Больше-то союзно́ жили. А так-то всякое бывало. Жизнь прожить — не поле перейти.

Дом построили, к своему колу привились, землю выдернули, от пня полоску очистили. На славу пшеница уродилась — колос к колосу — не слыхать и голосу. На мельницу ее свезешь, под пепелочек измелешь — так любо-дорого. Всю зиму поёдываешь.

Это ведь сейчас пашни усыхают, тощают. А раньше-то землю берегли, ухаживали за ней. Земля, что человек, — живая. Корчуешь целик — в нитку утянешься, перевернешь дерном вниз, навоз туда подбросишь, — она подпарится и сперва-то много родит. Потом ее на отдых спровадишь, простой даешь, другую полоску в работу втянешь. Если каждый год пользовать одну и ту же полоску, так она истощает и родить ничего не будет. Потому земельки-то и чередовали. И жили неплохо: одна рука в

меду, другая — в патоке.

Потом и дети пошли. Но недолго Наталья жила привольной жизнью. Пришла беда, и, как всегда, не спрашивая.

Как-то муж ее Иван Федорович с соседом Егором Пономаревым в тайгу пошли белковать. Это уж потом Егор рассказывал. Вот они идут, идут. Километров тридцать отмахали. А когда солнце макушки стало жечь, в распадок вышли, к зимовью.

Посидели, поели. Пока шель да шевель — и время ко сну. Егор в окрест потянулся. А Иван Федорович, приставши, уснул. Только глаза смежил, вдруг как зимовьюшку тряхонет. Что такое? Глядь в оконце-то — медведь, здоровущий такой, навытяжку, как человек, стоит, лапами маячит. А собаки заливаются-треплются, на лай исходят. Не успел Иван Федорович к ружью повернуться, как медведь в один мах разворотнил избушку, ввалился всем своим медвежьим весом в нее. Охотник и рта открыть не успел, как зверь сгорстал его, подмял под себя, всего изломал. Потроха выел, только ноги остались в суконных штанах да чирочках.

Все, что осталось от Ивана Федоровича, медведь завалил мхом, копну сделал, а сам — вершиной на нее. Так и застал его Егор и убил.

А на деревне Наталья ожиданием исходит. Вернулся Егор. У нее сердце зашлось в предчувствии, все изныло. Рассказал Егор все, как было. Она окаменела, а потом — в голос. Выревелась. Теперь что? Реви да живи. Кормильца не вернешь. Лучше семь раз сгореть, чем раз овдоветь. Жить надо, ребят поднимать.

Только одыбала маленько, пришла в себя, выровнялась, новая беда навалилась. Известно, одна она не ходит, стоит ей раз прийти, так без у́тиху и повалит. Беда, как полая вода, польет, не удержишь.

Как-то по осени в деревню понаехали казенные люди, в кителях, галифе, глаза шальные, омулевые. И стали смуту творить, чинить расправу над теми, кого они зачислили в кулаки. В них попали и те, кто с утра до вечера трудился, спину гнуллома́л. Сибирь — вольная сторона, земли много, в лесу — птица, зверь, в реках — рыба. Трудись — не ленись. Кто не зевал — тот воду не хлебал.

У кулаков все до копыта отобрали: коров, свиней, лошадей, курей, гусей со двора повывезли, молотилку, плуг, борону прихватили, вплоть до рухляди мелкой, чашек, ложек.

Подчистили дворы. Блестят, будто корова языком лизала. Свалили все на улицу в кучу. А потом торг, распродажу затеяли.

— Вот эта посудина сколь стоит? — казенный человек поднимал на мир чашку.

И в два-три часа все разошлось, все пустили на копейки горбом нажитое добро.

Самых работящих искоренили, повывели, извели. Кого на Колыму, кого в какие другие повальные места. А лень оставили.

А деньги куда девали? Он себе забрал. А куда девал, кто знает.

Потом согнали людей в кулацкие избы по три-четыре семьи в каждую, заставили жить коммуной. Как жили?

— Не глянулось которым,— вспоминает тетка Наталья. — Таку потеху вытворяли. Согнали. Сообча живите, грят. Мы чё? Руки по животам сложили и сидим-посиживам. Но сиди не сиди, жор творить надо. Не знашь, смеяться иль плакать. Нас-то три семьи в один дом торкнули. Ивана Федоровича Шаманова семья, Томшина Григория Ивановича да наша. Вот тебе девятнадцать ртов. Да еще старуха Исаиха. Бездетная. Туга на ухо, бедна была. Сообча-то маленько пожила и убралась, умерла. Хороша была бабка.

Все сделали общим: муку из одного засека велели брать, картошку в одно подполье заставили ссыпать. В подвал, что было у всех, тоже в один заставили положить. А потом к концу осени с месяц пожили, мясо кулацкое съели и разбежались.

Пришел, как и в первый раз, казенный человек, вы́бурил глаза и говорит:

— Ну, бабы, бегитё домой.

Будь ты проклят, черт окаянный! С места содрал. Изубытил.

Запрягли кошелки и разбежались. Как цыгане. Вот тебе и коммуна. Вот тебе и

Индигирская тундра



О творчестве Бориса Дмитриева
читайте на с. 126



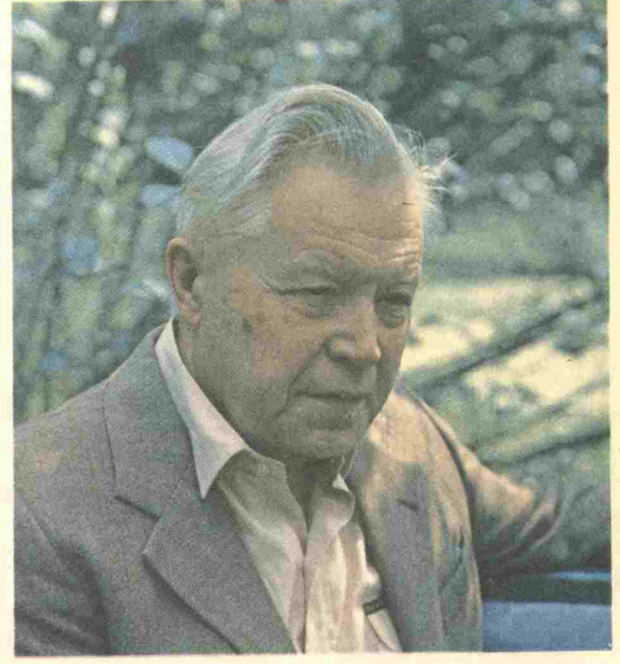
А. Костовский

Байкал, 1987 г. Рождение Байкальского движения

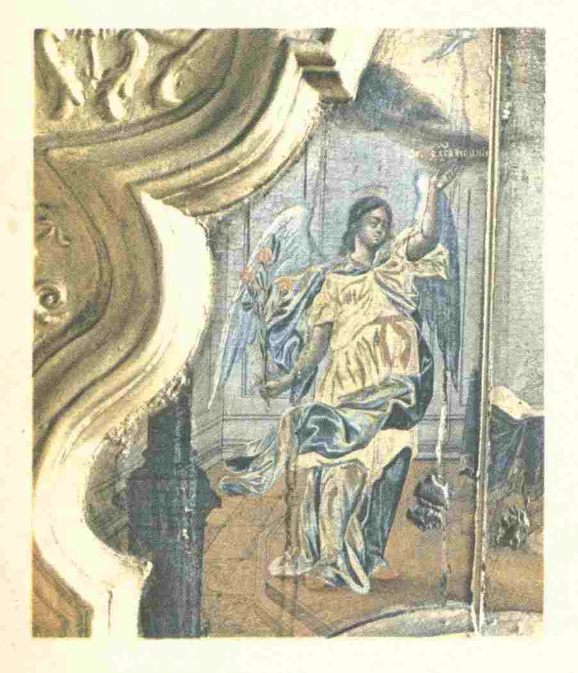
В. П. Астафьев



С. П. Залыгин

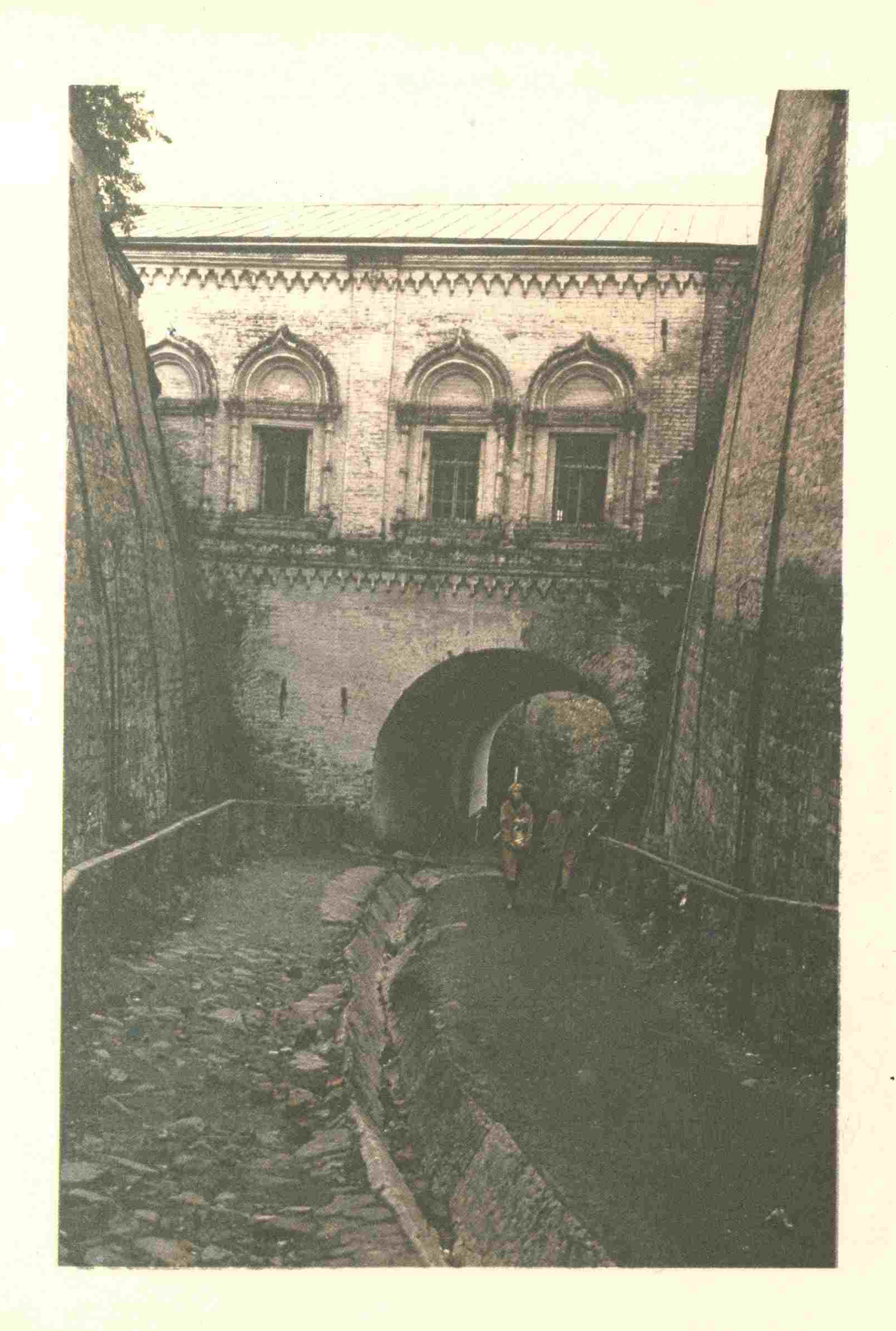


Иркутск. Крестовоздвиженская церковь



Крестовоздвиженская церковь. Элемент царских ворот

Тобольск





Лето

Смерть дерева

Багульник





Байкальские незабудки

правда. Правда она, знаешь, где? На кривой березе кривдой обернулась. Кто мог, тот валил с ног.

Ах, коммуна, ты, коммуна!
Кем тебя назначили?
Кто работал день и ночь,
Того и раскулачили.

Такая коммуна на памяти у многих приленцев. В этих краях она была доведена до анекдотического, если не сказать дикого эксперимента, который сотрясал людей и выбивал из них веру в лучшее переустройство крестьянской жизни.

Но дело прошлое. Поди теперь, спроси, почему у гуся лапки красные. Виноватить некого.

За разговором мы и не заметили, как сгорел день. Стало вечерять. Тетка Наталья посмотрела в окно, задернула штору:

— Озъявило уж.

Вдруг она заахала, стала ругать себя. Ей, оказывается, давно пора было унести узелок с едой сыну и невестке, которые неподалеку от деревни косили траву. Я вызвалась пойти вместе с ней. Тетка Наталья быстро схлопотала еду, и мы отправились в путь. Сначала шли огородами, потом перешли навесный мосточек через небольшую речушку, миновали лес и вышли к просторному разгульному лугу. Косцы — мужчина и женщина — шли друг за другом, мерно срезая перед собой густую пахучую зелень.

Они шли и пели. Пели с какой-то необыкновенной, почти первобытной свободой и вольностью, изнутри, звуками, поющей душой помогая своим размашистым движениям.

Звуки песни сливались с звуками косы, щебетом птиц, шелестом деревьев, травы, цветов, в какую-то единую звучную удивительно гармоничную мелодию.

Я стояла и слушала эту звенящую тишину, ощущая, как душа откликается на этот невидимый хор каким-то давно испытанным, но уже позабытым чувством, которое заставляло думать о том, что все неразделимо: и люди, и птицы, и деревья, травы, цветы и небо, и облака. Весь этот мир, сплетенный между собой какими-то невидимыми кровными руслицами, казалось, не знает ни времени, ни его деления на века, годы, месяцы, дни, часы, одно название ему — Вечность. Эта разлитая вширь и вглубь Вечность тихо вливалась в душу, тесня привычную растревоженность, беспокойство, уступая место покою и уверенности...

Домой мы вернулись изрядно припозднившись. Тетка Наталья сразу пошла в куть, растопила печь и стала творить блины. Потом поставила самовар, он весело загудел. Она накрыла стол, поставила масло, сметану, соленые грузди. Заварила чай, бросила в запарник брусничный лист. Пахнуло осенью.

Было видно, как тетка Наталья постепенно оттаивала от подозрительности и недоверия ко мне. И я наконец за чаем почувствовала ее расположение. Ее доверие ко мне росло и по мере того, как я втягивалась в домашнюю работу, стараясь кое в чем помочь ей, угодить. Она теплела, замечая, что я безотказно выполняла ее поручения по дому, двору, огороду, при этом тетка Наталья косо поглядывала на меня, следила, чтобы я делала все аккуратно, с умом, а не пях ногой, как она говорила, прилепя́ рукам.

Выходило, что я в буквальном смысле слова зарабатывала ее доверие. И уже в который раз убеждалась, что в деревне человека оценивают, как говорится, не по тому, как он складно и сладко может сложить свою речь, хотя, как известно, мудрые головы здесь всегда в почете и уважении, все же истинная сущность человека испытывается здесь трудом.

Не успели мы сесть за стол, как в дверь постучали, вошла соседка Анфиса Яковлевна — личность сердитая, хмурая. В разговоре она все отводила глаза, норовила смотреть исподлобья на нос, на губы, на шею, но никак не в глаза. Такие люди сами себе на уме, и неизвестно, чего от них ждать. Мне не раз приходилось встречать таких людей.

Как только Анфиса Яковлевна через порог, тетку Наталью кто подменил. Куда девалось ее гостеприимство, теплота, ра-

душие? Враз стала сдержанная, сухая, даже «садись» не сказала, что по деревенским обычаям чуть ли не оскорбление.

И все косым дождем поглядывала. А когда та захлопнула за собой дверь, вослед обронила:

— Не люблю я ее. У нее, как у змеи ног, правду не увидишь. Все хитрит-виляет. Ве́тошна уж. Носом землю чертит, а все под ноготь сама лезет.

Тетка Наталья удивляла меня своей способностью распознавать человека, видеть самый его корень. Посмотрит, будто очертит, нутром чует, кто чем дышит, каким воздухом, холодным или горячим.

— Попа-то и в рогозе видно, — сказала как-то она и тут же припомнила свою мать Анфимью Алексеевну. Это ведь она так говорила. Наречиста была покойница.

Тетка Наталья мать помнит смутно. Помнит, что она росла в старообрядческой семье и, как сейчас видит, носила белую холщовую рубаху, богато расшитую на плечах и по вороту, глухой сарафан и на голову тугим жгутом повязывала цветастый платок. А когда ходила в церковь, то непременно набрасывала поверх головы покрывало из легкой ткани.

Тетка Наталья достала из сундука платок с насаженными по краям цветами.

— По праздникам когда и одею. Берегу, шибко уж не ношу. Больше у меня мамина ничё и нету.

Я смотрела на этот изношенный платок со все еще не стершимися красными цветами, который, казалось, сохранил дух давно прошедших, неспокойных времен, взяла его в руки, и меня будто обдало жаром тех костров, которыми полыхала когда-то Россия в семнадцатом столетии. Я вдруг явственно увидела, как ступали в огонь неистовые старообрядцы, ведомые потрясающим чувством веры. Умирали с верой в человеческую душу. «Ох, светы мои, все идет мимо, токмо душа вещь непременна». Это мудрый протопоп Аввакум. «Дыши тако горящею душою: не оставит тя бог», — призывал он.

Материн платок! Неужели когда-нибудь наступят времена, когда из сундуков прошлого навсегда, бесследно исчезнут, превратятся в тлен и прах все эти зримые, осязаемые свидетельства прошлого с его взлетами и падениями, радостью и горем?!

Вечером мы с теткой Натальей вышли на улицу. Жар спал, было прохладно, и дышалось легко и свободно. Пастух, однорукий старик, припадая на одну ногу, намаявшись за день, устало брел за стадом коров и втрое согнутым бичом отмахивался от назойливых паутов и злющей мошки.

Хозяйки с прутьями в руках поджидали у ворот своих кормилиц, сыто бренчавших бо́талами.

Где-то совсем рядом сыпала веселые звуки грамонь. Чей-то бойкий голос запел:

Играй, тальяночка моя.
Сегодня тихая заря.
Сегодня тиха зоренька,
Услышит чернобровенька.

Тут же задорно отозвались:

Мало чаю, мало чаю
Без большого чайника,
Не пойду я за простого,
Пойду за начальника.

Заливисто подхватил другой голос:

У меня миленка три,
Три и полагается.
Один бьет, другой ласкает,
Третий заступается.

— И мы ведь раньше на посиделках отчиркивали тако же, — замечает тетка Наталья.

Посиделочку сидела,
Пряла тоненький ленок.
В ту сторонючку смотрела,
Где мой миленький дружок.

— Раньше все по седкам ведь собирались. Кто с пряхам, кто с кружевами, кто с вязаньем, кто шерсть шингат. Кто с чем. Больше-то с пряхам. Где собирались? Дом отряжали, наймывали. Платили хозяйке. Она и примала. Лишь бы платили. Кто хлеб, кто яйца, кто муку черемухову приташшит, кто деньгам. По-всякому. Кто чё давал. Отходим с месяц — платим, отходим — платим. Сроду родов так было. В дом-то этот отряженный народу много ха-

живало. Полна изба наберется. Со всей окружности набегут.

Женихи придут — сила! Кто с балалайкой, кто гармонь возьмет. Пряхи в сторону отбросишь, работу откинешь. Вечерку начнешь. По одной плясали, по две, четверо. Как плясали? Да по-разному. По-разному выкамаривали. Вот пойдет кто плясать из деук, пляшет, потом подтопнет к другой, крутанется возле ея — и к гармонисту мелким-мелким шажочкам:

Ты сыграй повеселее,
Расхороший гармонист.
Я тебе не лиходеечка,
Не вешай глазки вниз.

Стоит перед ём, наплясыват, а народ-то подтяговат, подхлопыват тута-ка. Потом друга пойдет. Ножкой топнет, рукам хлопнет, к гармонисту подбуровит, за платочек дёржится, концы теребит и перед ём и так и этак, вызволят его. Он поначалу-то кочевряжется, выгибатся, а потом встанет, рубашечку отдярнет назад боркам, фуражечку подтянет, верховик у ей оттопырит и пойдет над ей орлом кружить:

Не расстанемся с товарочкой
До самых до невест,
Когда вырастет на камешке
Травинка до небес.

Танцам да песням веселились. А теперь чё? Лишь бы напиться. Раньше понятья не было, чтоб пить. За позор шшитали. Даже на свадьбе молоды не пили. Боже упаси. По стопочке, когда приневолят, тогда и выпьют. А так-то стыдно было. Стыд имели. А счас чё? Сдурели! На поминки яшшикам берут, будто вечер какой. Напьются и забудут, что человека провожают. В раж войдут, хайлать начнут песни. Мы сроду родов на поминках не пили. Грех великий! Гулянка, чё ли? Боже упаси, чтоб рюмку кто подал. Без вина поминали.

Постряпашь пирогов, шанежек, кисель сваришь, блинов напечешь. Приходили, садились да и поминали. Все добром, худа-то никто и слова не обронит о покойнике. Обговоришь его добрым словом, ему и легче. А счас как?

Зачитают, с какого года, чё делал, где работал. Заместо человека. А раньше не так было. Поговоришь, а потом молитву прочитаешь:

Помяни, господи, первых,
Прибери последних.

Вот так раньше-то было... А счас...

Гармонь без устали играла весь вечер.

Люди, наработавшись за день, выходили на улицу, скапливались на лавочках, бревнах, вели досужий разговор.

Мимо нас, чуть покачиваясь, прошел парень, поприветствовал тетку Наталью:

— Здорово, тетка Наталья. Как живешь?

— Да спасибо. Ничё. Хорошо. За нуждой в люди не хожу, своёй дополна,— улыбаясь, отвечала она.

Присмотревшись к нему, спросила:

— А ты, видно, милóй, опять остаканился, ли чё ли? Опять разор матери учинишь. Бедна Пелагея.

Парень пьяно обнял тетку Наталью за плечи, она отпрянула:

— Господи! Как из Змея Горыныча несет, с души сблюешь.

— Но-о, да ты чё ворчишь, тетка Наталья. Нынче все пьют. Раньше сова не пила, а теперь и то в ресторан летает.

Парень, пьяно напевая что-то себе под нос, пошел дальше, слабо управляя собой.

— Шатун, — кивает тетка Наталья на уходящего,— тормохá, тормошится-суетится, но башковый. Все делать умет. Вáряга.

У парня золотые руки и ума не занимать. Но пьет, вечно скитается по миру. Все что-то ищет. А что? Он и сам путем не знает. Только все ему хотелось какой-то другой, а не той, какой он живет, жизни. Но слаб характером. Так вся молодость и прошла в бегах: то на Север завербуется, то в тайгу с мужиками уйдет, то вдруг с моря весточку матери пришлет. А возвратится домой — враз с дружками, эти всегда найдутся, лишь бы деньги велись. Просадит мозолями заработанную копейку, а там опять в бега.

— Так жись и проходит — ни в честь, ни в славу, — рассуждает тетка Наталья.

Она говорила мало, но всегда умела

что сказать, слова выходили весомые и к месту сказанные и всегда удивительно поэтичные.

К нам подошла Мария Никифоровна, грузная старушка, по слову тетки Натальи, зателёпеста (значит, полная, неповоротливая), еле передвигавшаяся на больных отекших ногах.

Она встряхнула от сенной пыли платок, осушила им лицо. Мария Никифоровна уже подумывала о больной старости и все не могла решить, чей дом — сына или дочери — будет надежной опорой в ней.

Все вечерние разговоры начинались со стона:

— Не знай, кого и делать.

На что тетка Наталья тут же отвечала:

— Чё выбирать-то? Здесь и выбирать неча. Известно, к сыну. Деука она ведь товар чужой. А сын? Сын он и есть сын. С сыном дерись — да на печку ложись, с зятем дерись — да за скобочку держись. Чё? Сама знашь — не в зыбке качашься.

Чуть помолчав, мудро добавила:

— А по мне так одной жить лучче. Когда сплю, катаюсь. Кошка да я на печи.

— Тебе хорошо. Здоровье содержишь,— заметила Мария Никифоровна.

— Позавидовала вошь коросте.

Мимо прошла женщина, почтительно поздоровалась со старушками. Тетка Наталья проводила ее взглядом, сочувственно изрекла:

— Не живет, а мается. Баба хороша. Раньше-то, когда молода была — красива, что верба, загляденье одно. А мужик попался — хрипунчик маленький, замухрышенький такой. Да ладно бы смирной был. А то жа́ркат бьет ее, бедну. Как напьется, изнахратит, гоняет почем зря. Всю красоту отбил, испортил. Чё бедовать? Лучче бы ушла. Уходят ведь в чичасно время. Живут. Это раньше друг дружки держались, не сапог — с ноги не сбросишь, а счас только как скидают.

Разговор цеплялся то за одно, то за другое.

Тетка Наталья закашлялась:

— Не уймется кашель, пока не перетрясет. В глотке уж перше.

Посмотрела на Марию Никифоровну, хитро улыбнулась:

— Ты пошто, деука, платком-то оввернулась? Боишься, что обеззорю, чё ли?

Тетка Наталья беспрестанно сыпала красными словами, рассказывала ли она сказку, быличку, бывальщину, повествовала ли о ранешной свадьбе или просто вела разговор. Я слушала ее и едва поспевала за ней записывать. Доведется ли когда-нибудь мне слышать речь, возделанную еще нашими предками в далекие, незапамятные времена?

За словом этой маленькой восьмидесятилетней старушки вставали давно отшумевшие времена и люди. Это уже потом после моего отъезда, расставшись с ней, я не однажды ловила себя на мысли, что, пока я находилась рядом с теткой Натальей, далекое прошлое вдруг обрело какую-то ясную видимость, стало удивительно живым, близким и не казалось канувшим в Лету.

Мне зримо представлялись люди, чей прах давно уже покоится на высоком погосте, их быт, труды и заботы, отдохновения и разговоры.

Сила слова в его памяти. Слово что странник. Сколько раз оно переходило из уст в уста, из поколения в поколения, из века в век, прежде чем зазвучало в нас? В слове плещется жизненная сила потерянных времен и ушедших в небытие людей. Она питает нашу душу и творит нас. Человек силен памятью о прошлом.

Я слушала тетку Наталью и ощущала себя в какой-то незримой связи с ним. Мне будто подвалили под ноги прочную надежную землю, по которой можно было ступать уверенней и тверже.

Но слово недолговечно. Оно, что фреска в неухоженной церкви, разрушается от времени, меркнет его первозданная поэзия, бледнеют, затираются, выветриваются его краски.

Еще недавно оно шумело-бурлило над родным краем тетки Натальи с полной силой. Здесь можно было услышать и былину, и трудовую песню, и историческую, и свадебную. Некоторые из песен, чаще ба-

рыню, подыгрывали даже на колоколах, когда церковь стояла живая, неразвороченная.

А сейчас? Многое из устного народного поэтического искусства уходит в небытие. Не услышишь теперь былину, трудовую песню. Лишь иногда в разговоре в чьих-нибудь талантливых устах блеснет образное слово, пословица, поговорка, реже звучит сказка, быличка, бывальщина. Старина уходит под неумолимым напором новой жизни с иным укладом, с иными нравами. Уходит.

Но нет! Все же манит старинное слово каким-то своим таинством, потаенной силой. Бывает, обступят тесной дугой старушку-посказительницу, что вышла на лавочку посидеть — вечер скоротать, пристанут к ней, извяжутся: «Расскажи да расскажи...»

Махнет она рукой. Все замолчат, уймут дыхание, и вслед за собой уманит всех в диковинные миры:

— Я уж забыла, кто рассказывал мне. Авдотья, нет ли. Не помню уж. Пошел Хома Антоныч, что в Старцеве жил, пошел в лес и с пути-дороги сбился. Заплутал. Кружил-кружил, но дороги-то не видать.

Чё делать? Сел на пенечек. Сидит. Вдруг так сзади себя голос слышит:

— Пойдем, Хомушка, в гости ко мне. У меня и чай сварённый, готовай. Выходи, гыт, туда-ка.

Он ни живой ни мертвый. Замер. Волосы шишом. Ужахнулся.

Обертыватся, видит — сидит лешачиха на пеньке, волосья дыбом, морда черная, как головешка. Он от нее бежать. Летит пуше ветра. Запыхался. А потом впереди себя деревину крест-накрест увидел. На ум пало ему тут, будто слышал от кого, что к этой деревине подойти нужно, перекреститься и взять кору в рот. Он подошел, перекрестился и только запустил кору в рот, а она, лешачиха-то, как зареве-ет, зареве-ет, завизжит, прямо не дай бог. Это же чистый крест, а она — нечиста сила. Ну и как пойдет по лесу все вихорям-вихорям и песни поет, тон-то ведет, а слова не выговариват, красиво поет.

Потом вдруг как закатится-захохоче-ет.

До сих пор в том месте хохотанье стоит. Видно, декалось ему, ли кого ли. Мерешшилось. Не знаю.

Тетка Наталья умолкла. Слушатели замерли, напряженно вслушиваясь в звонкую тишину, будто и впрямь пытаясь расслышать жуткое хохотанье хозяйки леса.

Но было тихо. Только Лена нежно ласкалась-всплескивалась у вечернего теплого берега да далекая кукушка нет-нет да и подаст свой запоздалый голос.

А. Дулов, Н. Красная

Памятники истории и культуры: прошлое и настоящее

Трудно вести любую деятельность, не зная истории ее развития, не имея представления о тех выводах, которые можно извлечь из опыта прошлого. Особенно важно это для такого специфического вида деятельности, как охрана, использование, изучение и создание памятников истории и культуры.

Мероприятия местных административных, религиозных, общественных органов и отдельных лиц по использованию и охране памятников прошлого являлись органической составной частью общего развития культуры, и поэтому в них можно найти важнейшие черты, характерные для развития культуры в целом.

Применительно к дореволюционному периоду этой деятельности можно наме-

тить два этапа. Первый из них, завершение которого относится к концу XVIII в., естественнее всего назвать клерикальным, второй, завершившийся 1917 г., — монархически-клерикальным.

Что наиболее характерно для первого из этих этапов? В это время на территории нашей области церкви являлись наиболее важным, доминировавшим видом памятников истории и культуры и, естественно, религиозное мировоззрение определяло политику создания, использования и пропаганды этих памятников. Церкви в это время нередко выступали в качестве синкретических памятников, совмещающих в себе различные функции, в том числе — исторические (чаще всего — религиозно-исторические, так как сами церкви или их отдельные приделы посвящались различным святым, имевшим конкретную связь с местностью, где стояла церковь). Кроме того, церкви служили памятниками архитектуры. Наконец, внутри церквей имелись росписи, иконостасы, то есть те предметы, которые мы теперь относим к памятникам монументального искусства. Если вспомнить, что церковь в XVIII в. стремилась обеспечить себе монополию на руководство и контроль за развитием философских, политических идей, науки, литературы и искусства, станет понятным, почему в XVIII в. именно эти сооружения были почти единственным, признававшимся тогда у нас типом памятников и почему они играли тогда важнейшую роль в этой деятельности.

Конечно, церкви все же не были тогда единственным видом памятников. Вероятно, в восточносибирских острогах XVII-XVIII вв. такую же роль играли главные башни острогов, которые, подобно башне Илимского острога, представляли собой выразительные в художественном отношении монументальные многоярусные сооружения, венчавшиеся символом самодержавия — двуглавым орлом. Уже в начале XVIII в. мы можем отметить появление еще одной разновидности памятников монументального искусства — мемориальных досок. В 1704 г. было закончено строительство первого каменного здания в Иркутске — приказной избы. В одной из комнат этого дома в стену была вложена каменная плита с вырезанным на ней текстом: «Божиею милостью в лето спасения 1704 года, по указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые Руси самодержца, построена сия палата при стольнике и воеводе Юрье Федоровиче Шишкине с товарищи». Ее автором, вероятно, следует считать первого известного нам зодчего Иркутска — М. И. Долгих, строителя приказной избы. Любопытно, что иркутяне сознавали ценность этой мемориальной доски. После того, как в 1823 г. здание было разобрано, эта плита долгое время сохранялась.

В 1789 г. происходит любопытное событие: к приезду в Иркутск генерал-губернатора И. А. Пиля были выстроены триумфальные ворота — первые в городе. С этого момента можно говорить о начале нового этапа, важнейшей особенностью которого было прославление в памятниках Иркутска конкретных лиц, главным образом монархов, реже — церковных и административных деятелей.

В 1800 г. был поставлен на средства вдовы мореплавателя памятник Г. И. Шелихову, представляющий значительный интерес и в художественном отношении.

1804 г. был ознаменован крупной победой иркутских церковников, сумевших добиться канонизации первого иркутского архиепископа Иннокентия Кульчицкого.

В 1811—1813 гг. сооружаются по проекту архитектора Кругликова Московские ворота, установленные на берегу Ангары в том месте, где был перевоз через реку на Московский тракт (в начале нынешней улицы Декабрьских событий). Эти триумфальные ворота были каменными, поднимались на большую высоту и, несмотря на отмечавшиеся современниками некоторые архитектурные недостатки, являлись все же интересным монументальным сооружением. Создавались они в честь десятилетия со дня начала правления Александра I.

В 1824 г. закладывается публичный сад в Иркутске около Спасской церкви, что бы-

ло первым шагом в развитии садово-паркового искусства города. Однако первым подлинным памятником ландшафтной архитектуры в Иркутске следует считать Интендантский сад, устроенный на берегу Ушаковки, на месте современного ИЗТМ им. В. В. Куйбышева. Сад этот с живописными выкопанными прудами, мостиками, зелеными насаждениями, павильонами пользовался огромной популярностью в Иркутске. Сад был открыт в 1871 г., и на его благоустройство была затрачена большая сумма — около 12 тысяч рублей.

Классовый характер «памятниковедческой политики» местных властей особенно наглядно проявился в сооружении в Иркутске часовни (1870 г.) в память «чудесного спасения» Александра II от выстрела Д. Каракозова, строительстве триумфального павильона в честь приезда в Иркутск наследника престола, будущего императора Николая II (1891 г.), возведении памятника Александру III (1908 г.). Таким образом, из последних пяти русских царей только Николаю I «не повезло», так как монумента в его честь здесь не было создано. Однако его память была «увековечена» другим образом: его именем был назван Девичий институт Восточной Сибири.

Продолжали прославлять и Иннокентия Кульчицкого. В 1877 г. на месте дома, где он жил, была построена в его память часовня (рядом со зданием костела). С целью укрепления религии и правящего режима продолжалось возведение новых церквей. Большинство из них отличалось высокими эстетическими достоинствами. Из церквей XIX в. особого внимания заслуживает грандиозный Казанский собор (1893 г.), построенный в нововизантийском стиле (теперь на этом месте Дом Советов). Рядом с ним располагался Католический костел (1885 г.). Эти два храма вместе с более ранними Спасской и Богоявленской церквами и другими постройками образовали замечательный по красоте комплекс культовых сооружений на центральной площади города.

Однако наряду с господствовавшей в то время религиозно-монархической тенденцией начиная с 20-х гг. XIX в. появляются и постепенно нарастают новые, демократические тенденции в деятельности, связанной с памятниками. В 1824—1825 гг. по всей стране проводился сбор средств на сооружение памятника в честь победы русского оружия на Куликовом поле. Иркутяне активно откликнулись на этот призыв и выслали значительные суммы денег. Пожертвования приходили не только из Иркутска, но и таких уездных центров, как Балаганск и Нижнеудинск[1].

Во второй четверти XIX в. революционеры и сочувствовавшие им стали сохранять и фиксировать места, связанные с политическими ссыльными. Такую деятельность вели декабристы, а за ними — и новые поколения революционеров-изгнанников.

Установленный в 1886 г. в Иркутске памятник историку-демократу А. П. Щапову стал первым в Восточной Сибири монументом политическому ссыльному, сооруженным на средства жителей города вопреки сопротивлению консервативных кругов. В 1898 г. в Верхоленске был поставлен памятник выдающемуся русскому марксисту Н. Е. Федосееву с такой надписью: «Политический ссыльный Николай Евграфович Федосеев: родился 27 апреля 1871 г., умер 22 июня 1893 г. От товарищей». Для нас весьма существенным является тот факт, что инициатором сбора средств среди политических ссыльных для сооружения этого памятника был В. И. Ленин, высоко ценивший Н. Е. Федосеева[2]. Правда, во многих случаях могилы политических ссыльных все же не удавалось сохранить. Так, в Иркутске были утеряны могилы видных революционеров-шестидесятников Н. А. Серно-Соловьевича и И. А. Худякова, похороненных на Иерусалимском кладбище (ныне территория ЦПКиО).

Своеобразно было отмечено нижнеудинскими рабочими место расстрела рабочих в 1905 г. На средства, собранные рабочими-железнодорожниками, в Нижнеудинске

---

[1] Познанский В. С. Из истории сооружения Куликова столба // Памятники истории архитектуры Сибири. Новосибирск, 1986. С. 27.

[2] Мещерский А. П. Первые марксисты в сибирской ссылке. Иркутск, 1966. С. 45.

была построена церковь.

Острая политическая борьба разгорелась вокруг памятника Александру III в Иркутске. 20 ноября 1900 г. в ленинской «Искре» появилась корреспонденция из нашего города. Приведем выдержки из нее: «Иркутск. В конце прошлого года иркутским генерал-губернатором назначен бывший помощник шефа жандармов — Пантелеев. Первый дебют его по управлению краем состоял в том, что он призвал иркутского городского голову Жарникова и потребовал, чтобы дума постановила ассигновать известную сумму на постройку памятника Александру III. В заседании думы по этому поводу никто из гласных, конечно, не дерзнул ничего возразить против этого предложения... Затем генерал-губернатор пригласил к себе всех именитых граждан и предложил им сделать пожертвование на памятник, а сам ушел в свои комнаты. Адъютант его подал подписной лист, и «граждане» подписали — кто тысячные, кто сотенные суммы... Далее пошла так называемая добровольная подписка, то есть начальникам разных учреждений предложено произвести подписку на памятник среди подчиненных. Недовольство было всеобщим, и Александр III не раз переворачивался в своем гробу от сыпавшихся на его голову проклятий... Ничто так не подорвало монархизм среди сибирского населения, как эта история с памятником. Нужно за это сказать большое спасибо генералу Пантелееву»[1].

24 июня 1903 г. Иркутский комитет РСДРП издал специальную прокламацию по поводу строительства памятника. 29 августа 1908 г., во время торжественного открытия памятника царю, члены партии и сочувствовавшие им рабочие собрались на противоположном берегу Ангары, в роще «Звездочка», и устроили митинг. К этому дню местными социал-демократами была издана прокламация «Черный праздник», разоблачавшая самодержавие. В ней была выражена надежда, что «ни истукан, ни черный праздник не затмит сознание рабочих...» Полицией были произведены в этот день массовые аресты. Более 60 человек оказались в тюрьме[2].

Из других существенных фактов следует отметить активизацию, начиная с 80-х гг. XIX в. археологических исследований. В 1871 году при земляных работах была впервые в России открыта в Иркутске стоянка людей каменного века. Появились общества, в задачи которых входила охрана памятников прошлого: Иркутская ученая архивная комиссия (1911 г.), которая частично занималась также и обследованием памятников старины. В 1912 г. возникло церковно-историческое и археологическое общество Иркутской епархии, которое должно было следить за состоянием древних храмов и других церковных реликвий. В десятые годы XX в. были произведены обмеры ряда старых церквей, И. И. Серебренниковым были опубликованы брошюры об архитектурных памятниках Иркутской губернии.

В конце XIX — начале XX вв. в Иркутске было сооружено немало ценных в архитектурном отношении построек. В 1858 г. были построены Амурские ворота — первые в Иркутске, посвященные не царю или губернатору, а важному историческому событию — Айгунскому трактату с Китаем, вернувшему Приамурье России. С конца XVIII в. по 1917 г. А. Я. Алексеев, А. И. Лосев, Я. А. Кругликов, А. И. Кузнецов, А. Е. Разгильдеев, А. П. Артюшков, Н. И. Бойков — губернские, городские, ведомственные архитекторы, люди одаренные и образованные, сумели в далекой провинции создать образ архитектуры, соединенной с сибирской природой, волнующей тихим покоем провинциальной торжественности человека сегодняшнего дня.

И это относится не только к Иркутску. Притрактовые деревни, села на берегах Лены, Киренги, Ангары, Чуны — с каким мастерством удавалось включать губернским архитекторам в ландшафт сел храмы,

---

[1] Сибирские корреспонденции в ленинскую «Искру». Иркутск, 1939. С. 34—35.

[1] Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Ч. 1. Иркутск, 1966. С. 110—111.

гражданские и промышленные сооружения! Всего перед Октябрьской революцией на территории области находилось до 500 церквей, представлявших собой в подавляющем большинстве интересные, а иногда и уникальные архитектурные памятники.

Сам Иркутск как градостроительная единица к этому времени уже вполне сложился. Центральная часть его отличалась высоким художественным уровнем застройки. В результате общий вид города радовал красотой и разнообразием: Ангара, причалы, жилая одно- и двухэтажная застройка по холмистому рельефу и как ее завершение — вертикали соборов, храмов, костела, часовен, сформированные в многоплановую силуэтную панораму. Кроме того, и архитекторами, и непрофессиональными строителями были созданы тысячи художественно выразительных деревянных домов.

Оценивая дореволюционную деятельность по охране и использованию памятников в нашей области, следует прежде всего отметить усиливавшуюся борьбу противоположных классовых позиций в этом вопросе, проходившую при постепенно крепнувших демократических и социалистических тенденциях. Можно отметить также целый ряд положительных традиций, которые представляют собой ценный и полезный опыт, накопленный еще до 1917 г.

Это — привлечение в отдельных случаях общественности к определению места расположения монумента; устройство всероссийских конкурсов, в результате чего были получены удачные в архитектурно-художественном отношении проекты (так было при проектировании городского театра, памятника Александру III); создание огромного количества интересных архитектурных комплексов; тщательное художественное оформление зданий, имевших особое политическое или идеологическое значение (церквей, зданий общественного характера), возникновение органов, начавших изучение и охрану памятников истории культуры.

Октябрьская революция резко изменила отношение к различным историко-культурным памятникам. Огромное значение приобрели памятники революционной борьбы; были лишены ореола святости церкви; разрушались памятники царям. Надо сказать, что в первые годы Советской власти местные руководители проявляли мудрость в оценке памятников прошлого. Так, очень разумно обошлись в 1920 г. с монументом Александру III: сам «истукан» был сброшен, а постамент, учитывая его высокие художественные достоинства, сохранили. Если бы так же осмотрительно решалась судьба памятников прошлого и в последующие десятилетия! Правда, до 1930 г. о памятниках заботились. В 1925 г. Иркутский губисполком обязал все Советы губернии принимать меры по охране памятников «старины, искусства и природы»; по данным Е. Б. Шободоева, в губернии было поставлено под охрану 52 комплекса и отдельных памятника. В Иркутском краеведческом музее возник специальный отдел, который и начал вести работу по охране и изучению памятников истории и культуры.

Но затем для реликвий прошлого нашей страны началось печальное время: «В 30-е годы общественность была отстранена от участия в охране памятников. Вопрос об оставлении или сносе исторических и художественных памятников всецело зависел от административных и даже хозяйственных органов. Под флагом борьбы с пережитками прошлого принимались решения о сносе ряда памятников истории и искусства, имеющих огромное значение»[1].

Не избежала этой участи и наша область. В 30-х гг. было снесено или до неузнаваемости изуродовано большинство церквей области. И если в начале XX в. здесь было до 500 культовых построек, то теперь мы имеем лишь около 150, то есть лишь 30% прежнего[2]. Таким образом, было уничтожено огромное художественное

---

[1] Бескровный Л. Г. Памятники истории и культуры // Методические рекомендации по подготовке свода памятников истории и культуры СССР. Вып. 6. М. 1974. С. 25.

[2] Использованы данные архитектора И. В. Калининой.

богатство! В Иркутске из 33 церковных вертикалей в городской панораме сохранилось только 6 (остальные разрушены или не имеют завершений), но даже они при средней нынешней пятиэтажной застройке потеряли свое градостроительное значение как доминанты.

Такая бездумная «борьба с религией» привела к сносу или приспособлению церквей для самых неожиданных целей: под склады, птичники, заводы, общежития. В лучшем случае — под клубы, кинотеатры, библиотеки. За таким горе-новаторским использованием стоят переделки, снос завершений (куполов, колоколен), устройство многоярусных перекрытий, прорубка окон, заделка старых проемов — бесконечные искажения и утраты.

Нормальное восприятие многих памятников архитектуры было нарушено из-за пристройки к ним крупных зданий. Так, четырех-пятиэтажные дома были построены почти впритык к Польскому костелу, Богоявленскому собору, Казанской церкви. Однако наряду с многочисленными утратами городу все же удалось сохранить, в целом, историческую сеть улиц, площадей, кварталов и улиц с деревянной застройкой XIX в. В 50-е гг. ведется тактичная застройка центральных улиц города — Карла Маркса, Ленина, Урицкого, окончательно сформировавшая их сегодняшний облик. Выразительность и целостность застройки придают им статус градостроительных ансамблей.

С 30-х гг. на длительный срок было ослаблено внимание и к памятникам истории и археологии; даже из историко-революционных памятников охранялись только самые известные. И в этих сферах многое было утрачено, вплоть до разрушений исторических зданий и утери мест захоронений замечательных личностей.

Заключительным аккордом печальной симфонии, которую можно было бы назвать «Борьба с памятниками истории и культуры», оказалась компания по ликвидации понятия «иркутская усадьба». В начале 60-х гг. в городе были сметены заборы, ворота, калитки, амбары, сараи. Теперь только по отдельным фрагментам можно воссоздать былую целостную картину. Добрались и до самих домов: тесовые, металлические, шатровые с башенками и сложным покрытием кровли заменили на шиферные, убрали декоративные навершия водостоков, воронки. Забили или переделали в окна главные входы с улиц, зашили досками арочные галереи прирубов с цветными витражами, заменили калеванную под руст обшивку на «вагонку», срубы зашили «вагонкой», сорвали резные лобани с окон — вырвали «ниточки» исторической ткани...

Со второй половины 60-х гг. намечаются первые перемены в отношении общественности к памятникам истории и культуры. В 1966 г. создается Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры; в дело охраны и использования памятников по всей стране, в том числе и в Иркутской области, начинают вовлекаться более широкие слои общественности. С конца 60-х гг. начинается деятельность по реставрации архитектурных и исторических памятников. Много полезного было сделано в этом направлении архитектором-реставратором Г. Г. Оранской. При ее активнейшем участии и руководстве (а также архитекторов А. А. Ополовникова, Е. Ю. Барановского) реставрируется Спасская и Богоявленская церкви в Иркутске, проводится музеефикация домов декабристов Трубецкого и Волконского в Иркутске, создаются музеи под открытым небом в г. Иркутске и в Братске. Эти два историко-этнографических музея дали возможность вывезти из зоны затопления и спасти десятки интереснейших построек, ознакомить широкие массы трудящихся с ценнейшим историко-культурным наследством.

С публикацией в 1977—1978 гг. законов СССР и РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» был определен и конкретизирован ряд правоохранительных мер. Государственными органами охраны памятников истории и культуры стали исполнительные комитеты Советов народных депутатов. Специально уполномоченными государственными орга-

нами определены Министерства культуры СССР и РСФСР, а на местах — управления (отделы) культуры облисполкомов, городских и районных Советов при содействии ВООПИК. Выходит целый ряд постановлений Совета Министров СССР и РСФСР, направляющих деятельность органов охраны памятников. Издание этих законодательных материалов дает возможность начать в области более планомерную работу по охране и использованию памятников. В деятельности общественности важными моментами этого времени следует считать проведение в 1977 г. первой в области конференции, посвященной памятникам борьбы за власть Советов в области, и появление публицистической работы В. Распутина — «Иркутск с нами» (1979 г.).

В 1970 г. городу присвоили статус «исторического». ЦНИИП градостроительства разработал проект детальной планировки центра Иркутска, определил заповедные зоны, причем было решено сохранить в основном сеть улиц исторического центра.

В 80-х гг. историко-архитектурной группой политехнического института был выполнен историко-архитектурный план памятников истории культуры Иркутска, который лег в основу проекта зон охраны и регулирования застройки Иркутска. Управлением культуры совместно с областным отделением ВООПИК в 70—80-х гг. были поставлены под государственную охрану республиканского или местного значения села Урик, Усть-Куда, Бельск, Верхоленск, Александровское, уникальный в инженерном отношении участок Кругобайкальской железной дороги.

С 1982 г. начата планомерная работа по научной паспортизации памятников археологии, истории и архитектуры Иркутской области путем создания соответствующих хоздоговорных групп при университете и политехническом институте. С начала 80-х гг. активизировалась деятельность областного отделения ВООПИК, резко возросло число членов общества. Значительно улучшилось состояние архитектурных и исторических памятников Иркутска в результате большой работы, проведенной в связи с его юбилеем в 1986 г. Иркутяне впервые увидели, насколько красивы многие старые здания, десятилетиями находившиеся в запущенном состоянии.

Произошел и качественный скачок в реставрации памятников. В 1983 г. участок ремонтно-строительного треста, занимавшийся этими работами, преобразуется в специальную научно-производственную мастерскую управления культуры облисполкома, которая увеличила свои производственные мощности с 300 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей в 1986 г.

Однако нерешенных проблем еще очень много.

Если говорить о важнейших слабостях в практике охраны и использования памятников, то, конечно, самый главный из них — волюнтаристский подход к этим проблемам. Поскольку длительное время значение памятников истории и культуры недооценивалось, отношение руководящих органов к ним было весьма сдержанным, а в некоторых случаях — прямо пренебрежительным, подобные же традиции существовали и в нашей области, и сразу освободиться от этого наследия прошлого трудно. Кроме того, умение верно оценивать значение памятников сильно затруднено еще и плохим состоянием разработки общих проблем памятниковедения. К сожалению, до сих пор в стране отсутствуют обобщающие работы о практике создания новых памятников, охраны памятников разных типов, их использованию. Все эти недостатки также оказывают свое отрицательное влияние.

Подобное отношение привело к тому, что многие памятники, даже связанные с революционным движением и гражданской войной, находятся в плохом состоянии или утрачены. Особенно печально, что в Верхоленске затеряна могила выдающегося марксиста Н. Е. Федосеева. При Советской власти... могила его была затеряна! Это просто поразительно! В. И. Ленин и другие политические ссыльные, находясь в неравноправном положении, будучи юридически в положении преступников, все же сумели собрать средства и соорудить Федосееву па-

мятник, а вот руководители Качугского района, обладая всей полнотой власти, ухитрились затерять его могилу! По-видимому, в дальнейшем придется произвести археологические раскопки, чтобы определить точное местонахождение его могилы. В том же Качугском районе утрачено место братской могилы красноармейцев в Манзурке, а в Бирюльках на обелиске красноармейцев П. Серебренникова и Я. Попова отсутствуют их фамилии. В Черемховском районе в плохом состоянии находятся памятники на братских могилах в поселках Половина и Касьяновка. В самом Черемхове ухитрились снести здание, в котором находился штаб ЧОН (частей особого назначения). В Ольхонском районе могилы активных борцов за Советскую власть П. П. Пронькина в Тажеранских степях и А. Х. Халтакшинова в деревне Таловке лишены каких-либо опознавательных знаков. На станции Камышет (Нижнеудинский район) могила партизана Н. Третьякова также не имеет его фамилии. В самом Нижнеудинске не отмечены места захоронений воинов, умерших в госпиталях от ран. Очень многие памятники, связанные с гражданской войной, лишены поименных списков захороненных, в части из них содержатся ошибки. Большинство из них эстетически очень невыразительны или находятся в плохом состоянии. Количество примеров, приведенных в тексте, можно было бы значительно увеличить за счет других районов. Даже в областном центре до сих пор нет ни памятника, ни надписи на перезахоронении красногвардейцев, погибших во время декабрьских боев 1917 г. в Иркутске; нет хорошего памятника на могиле И. С. Посталовского и его соратников.

Советские и хозяйственные руководители далеко не всегда заботятся об охране памятников, нередко допускают их необоснованный снос. Особенно это относится к памятникам деревянной архитектуры.

Совершенно непростительным является отношение ряда местных руководителей к памятнику истории техники и гражданской войны — ледоколу «Ангара». Ныне это старейшее из сохранившихся судов ледокольного типа в стране (ледокол построен в 1900 г.). Ледокол был лидером советской Байкальской военной флотилии в 1918 г., был свидетелем трагической казни. В 1977 г. было принято решение обкома ВЛКСМ и Иркутского горисполкома о создании на судне музея. По халатности руководителей, не желавших признавать его ценнейшим памятником, ледокол дважды оказывался затопленным и дважды его приходилось поднимать, на что были затрачены сотни тысяч рублей. Лишь недавно на нем начались восстановительные работы. Но денег у финансирующей организации мало, и лишь добровольные взносы иркутян могут обеспечить завершение реставрации.

Недостаточное знакомство с историей и культурой, непонимание особенностей и сложностей работы с памятниками, нежелание считаться с мнением специалистов и общественности нередко приводит к очень серьезным ошибкам. Еще не так давно в кругах руководителей бытовало мнение, что памятники можно создать или заменить почти по произволу. Так, в начале 70-х гг. в Иркутске возник замысел сооружения памятника в сквере, на пересечении улиц Ленина и Тимирязева. Там даже установили камень с таким текстом: «Здесь будет установлен памятник тем, кто завоевал, отстоял и укрепил Советскую власть». Сама идея создания такого «многоцелевого» памятника, конечно, является абсурдной. Памятник обычно посвящается какому-то конкретному лицу или событию. Судя же по тексту, памятник мог относиться даже к живущим еще людям, поскольку «укрепление Советской власти» — процесс непрерывный. Правда, через несколько лет после критических замечаний этот камень был убран.

В Нижнеудинске же удалось, к сожалению, осуществить нечто подобное. Там в 1967 г. был открыт «мемориал», для создания которого из трех братских могил вырыты останки героев, погибших в 1905, 1918 и 1919 гг., и таким кощунственным путем создан общегородской памятник! Конечно, раз такой мемориал был создан, с

этим теперь мы вынуждены мириться. Но нельзя допустить повторения ошибок!

До недавнего времени у нас довольно просто решался вопрос о «переориентации»... кладбищ. Так, бывшее Иерусалимское кладбище в Иркутске, на котором покоится прах десятков русских революционеров, а рядом с ними уже в советское время захоронены сотни борцов за власть Советов, превращено в ЦПКиО. Теперь возник проект превращения в парк Лисихинского кладбища. Совершенно справедливо по этому поводу говорит писатель В. Распутин: «Неужели нельзя найти другое место? Почему нужно непременно на костях своих родителей отплясывать?! Это ведь тоже влияет на систему нравственных отношений человека... Кладбище производит большое воспитательное не действие даже, а действо. Человеку туда уходить. Святое чувство к ушедшему должно присутствовать, что мы жили не зря, что мы пришли не просто повеселиться здесь, а должны оставить добрые дела. Что тебя помнить будут»[1].

Серьезный просчет был допущен при строительстве мемориала воинам-иркутянам, павшим в 1941—1945 гг.

При создании таких мемориалов, повсюду пользующихся всенародным вниманием, важно учесть всех воинов, отдавших свою жизнь за независимость Родины. Поэтому широкие круги общественности, добивавшиеся длительное время сооружения этого мемориала — ветераны войны и труда, писатели и комсомольцы, историки, — желали, чтобы в его композицию были введены специальные стены или другие плоскости, где были бы выбиты имена всех иркутян, не вернувшихся домой. Для того, чтобы собрать имена всех погибших, требовалось много сил и времени. Но лишь при этом почти каждый житель Иркутска, придя к монументу, мог бы найти фамилию своего родственника или знакомого, заслонившего своей грудью страну. Длительное время местное руководство не принимало решения о строительстве мемориала, а потом вдруг началось сооружение памятника, но... авральным методом, в кратчайший срок — к ближайшему юбилею. В 1975 г. мемориал был действительно открыт, но там нет имен десятков тысяч иркутян, павших за Родину! Нам остается только завидовать, приезжая в другие города, например, в Новосибирск или Барнаул, и видя, насколько выше и идейное, и художественное значение подобных памятников, где действительно «никто не забыт и ничто не забыто!».

Ряд иркутских памятников совершенно неудовлетворителен и с точки зрения их содержания, и с точки зрения художественной потому, что были созданы на основе «волевых» решений, без совета с широкой общественностью. Таков, в частности, памятник борцам за власть Советов у Белого дома — серое бетонное сооружение. Памятник этот настолько невыразителен, что многие экскурсоводы предпочитают его не показывать туристам. Плох и скульптурный портрет Ю. А. Гагарина на бульваре Гагарина (70-е гг.). В 1985 г. был сооружен скульптурный портрет А. М. Горького — голова и плечи, водруженные на тонкий квадратный гранитный столб. Эту скульптуру уже критиковали за художественный облик. Однако она не содержит ничего, связанного именно с нашим городом. А ведь была возможность отразить взаимоотношение литературного ученического кружка «Базы курносых» с великим писателем. Можно было обратиться к А. Манжелес, ленинградскому скульптору, участнику кружка, которой именно Горький помог получить художественное образование. Однако все было решено без совета с общественностью, и в результате — появились неинтересные памятники, которые, однако, заняли весьма выигрышные точки города.

В период подготовки празднования юбилея присвоения Иркутску статуса города был совершен еще один акт «административного монументализма»: у въезда в центр города построен памятный знак «Кировский район», сразу же вызвавший недоумение горожан. Эта «ошибочка» городских руководителей обошлась государству в

[1] Вост.-Сиб. правда. 1987. 15 марта.

300 тысяч рублей. И вряд ли виновные будут наказаны...

В том же 1986 г. был зафиксирован еще один случай «административного монументализма»: попытка без участия общественности поставить памятник декабристам. Договорившись с двумя московскими авторами, местное руководство собиралось сооружать памятник по проекту, который не удовлетворял подавляющее большинство тех иркутян, которые ознакомились с ним. Только после целого ряда протестов и благодаря новой, более благоприятной для решения социальных проблем обстановке в стране выбор проекта будет решен посредством конкурса.

На многих стройках отрицательно сказывается широко распространенная практика проведения ремонта «ускоренным способом». Как известно, украшения фасадов здания складываются обычно из довольно незатейливого набора элементов: лепного декора, архитектурных тяг, поясков, оконных переплетов, дверей, парапетных балконных решеток, ступенек и крылец, козырьков и кронштейнов, ручек и задвижек.

При проведении ремонта этот набор уничтожается или искажается, козырьки, ручки, решетки выкидываются, лучковые, арочные рамы заменяются на «лучшие» — цельные, а разные филенчатые двери — на пластиковые или из ДСП, обшитые рейкой. Излишне активное асфальтирование ряда центральных улиц Иркутска с обилием деревянных домов приводит к тому, что крыльца этих домов уходят под асфальт, а сами дома становятся еще приземистее. При ремонте ряда каменных зданий уничтожается лепнина потолков, разбираются изразцовые печи, росписи закрашиваются, производится перепланировка интерьеров.

Для улучшения дела охраны памятников в нашей области очень полезным было бы открытие иркутского филиала Спецпроектреставрации для своевременной разработки проектной документации: увеличение реставрационных мощностей СНРПМ. Иркутский облисполком затягивает утверждение ряда документов: Проекта охранных зон Иркутска, Плана детальной планировки и Генерального плана города. Необходимо также утвердить Правила застройки исторических населенных пунктов. У руководства облисполкома, к сожалению, сложилась досадная традиция сокращать количество памятников, предлагаемых на охрану управления культуры и ВООПИК, что было отмечено даже центральной прессой[1].

Многие проблемы решаются слишком долго. Еще в 1956 г. один из виднейших антропологов и археологов нашей страны М. М. Герасимов поставил перед местным руководством вопрос о музеефикации уникального, пользующегося мировой известностью археологического некрополя «Локомотив» (в Иркутске, на территории парка им. Парижской коммуны). С тех пор это предложение выдвигалось неоднократно, но до сих пор так ничего и не сделано.

Важной задачей изучения памятников является работа по подготовке томов Свода памятников истории и культуры СССР по Иркутской области. Два тома Свода (один — по г. Иркутску, другой — по памятникам районов области) должны быть сданы в печать в 1997 г. и выпущены в 1999 г. До этого необходимо в 1995 г. закончить сплошную паспортизацию всех памятников истории и культуры области. С этой целью с 1982 г. созданы группа паспортизации памятников археологии и истории в Иркутском университете и архитектуры — в политехническом институте (последняя занимается также паспортизацией памятников монументального искусства). Около трех десятков освобожденных сотрудников и совместителей — преподавателей вузов ведут работу по паспортизации памятников. Эта работа в целом идет успешно и, по-видимому, будет закончена в срок, что даст возможность подготовить вовремя и тома Свода памятников.

Если же говорить о состоянии работы по изучению памятников, то она выполняется недостаточно активно. Лучше всего изучаются археологические памятники — и

---

[1] Нечаева Т. Древности города в свете закона // Известия. 1987. 14 мая.

это связано, прежде всего, с существованием в ИГУ мощной лаборатории археологии и этнографии Сибири, которая целеустремленно обследует археологические памятники области и публикует большое количество материалов о них. Слабее обстоит дело с публикациями о памятниках истории. Недостаточную активность проявляют в этом отношении преподаватели вузов города, особенно преподаватели кафедр истории КПСС, которые слабо участвуют в работе по охране и изучению исторических памятников. Об исторических памятниках области издано за последние годы более десяти брошюр и буклетов, но это количество следует признать недостаточным.

Практически не выходит работ об архитектурных памятниках Иркутской области, что серьезно мешает также деятельности по их охране. Претензии в этом плане должны быть обращены прежде всего к сотрудникам архитектурного факультета политехнического института и работающей при нем группе паспортизации памятников архитектуры. До настоящего времени вся небольшая литература об архитектурных памятниках области написана либо неспециалистами, либо архитекторами других городов.

Таковы основные выводы из опыта охраны и использования памятников Иркутской области. Наша задача заключается, очевидно, в том, чтобы, активизируя эту работу, избегать повторения ошибочных действий, тщательно и всесторонне продумывать альтернативные варианты, решающие судьбу памятников, не допускать новых потерь и утрат бесценного наследия прошлого.



В. Камышев

Вампиловский экран

... А правомерно ли вообще подобное словосочетание — «вампиловский экран»?

Давно уже на слуху термин «шекспировский экран» — так назвал свое обозрение экранизаций произведений великого английского драматурга критик А. Липков. Л. Аннинский предполагал назвать свое исследование «Лев Толстой и кинематограф» «толстовским экраном». Никто, наверное, не станет возражать против термина «чеховский экран», — достаточно вспомнить чеховские экранизации последнего времени... Но там — десятки фильмов, созданных в разных странах, разными, в том числе и выдающимися режиссерами. А что дает право говорить о «кинематографе Вампилова»? На первый взгляд — оснований нет. Экранизации можно по пальцам пересчитать, да и вообще наследие иркутского драматурга, в количественном выражении, несравнимо с тем, что оставили вышеупомянутые классики.

Но дело ведь не в количественном выражении только. По этой логике можно рассудить, что произведения, скажем, Агаты Кристи или Ю. Семенова немногим менее актуальны и значимы для потомков, чем Льва Толстого,— количество-то экранизаций несметно...

Если понятие «кинематограф Вампилова», быть может, и непривычно, то «театр Вампилова» — бесспорно и общепризнано. Общепризнано, несмотря на мучительную трудность и очевидную неполноту сценических воплощений, на непростоту осмысления и уяснения.

Но ведь мучаемся и вдумываемся, постигая, — а чувствуем некую духовную целостность, имеющую кровное отношение и к нашей собственной жизни.

«Театр Вампилова» — это прежде всего жизненное содержание, взывающее к пониманию и ответу, обладающее мощной внутренней энергией, самобытной силой. И оно таково потому, что Вампилов увидел и запечатлел жизнь в своем, особенном повороте.

Коль скоро способно это вампиловское содержание найти себе органичную кинематографическую форму, — значит, существует «кинематограф Вампилова», существуют фильмы, в которых искусство кино попыталось «захватить» и эту, еще не освоенную им «территорию», в свою очередь неизбежно испытав на себе воздействие вампиловской драматургии.

Размышляя над современным кинопроцессом, приходишь к выводу сугубо диалектическому: чем более предельно кино осуществляет себя как кино, в своей органике, тем сильнее его интерес к драматической структуре.

Кинематограф как бы «страхуется» драмой, «страхуется» от художественной энтропии, которая представляет собой реальную опасность, грозящую образу именно в том случае, когда «главное всё». Это наблюдение подтверждается практикой как раз наиболее

«кинематографичных» режиссеров, в частности, того же А. Германа, Г. Панфилова.

В фильме А. Германа «Проверка на дорогах», несомненно, остродраматичнейший сюжет; если же мы приглядимся к тому, как построен фильм «Мой друг Иван Лапшин», то увидим, что здесь пересекаются сразу несколько драматических «линий»: уголовно-детективная история, связанная с профессией главного героя, мелодрама (и даже две — история Ханина, потерявшего жену, и история неразделенной любви Лапшина к Адашевой). Разумеется, если бы на этом «детективно-мелодраматическом» каркасе делался акцент, если бы все это было сыграно привычно-театрально и снято в «усредненном» киностиле — на это было бы просто невозможно смотреть. Но здесь, в этом фильме испытанные драматические конструкции «полуутоплены», они ложатся на совсем особую германовскую кинематографическую «фактуру», работают на нее. В данном случае они выполняют роль «арматуры», помогая плоти образа не «расползтись».

Не менее показательно в этом плане творчество Глеба Панфилова — самобытного, тонко чувствующего специфические возможности кинематографа режиссера. Едва ли не лучшая его лента «Васса» — экранизация известной пьесы Горького, экранизация строгая, даже аскетичная, с сохранением единства места, времени и действия.

А перед этим был фильм «Валентина», обращение к Вампилову. Обращение далеко не случайное (кстати, изменение заглавия — отнюдь не «волевое решение»: так предполагал назвать пьесу сам автор). Два эти художника — А. Вампилов и Г. Панфилов — близки, причем близки в чем-то важном, сокровенном — во взгляде на человека, на человеческий характер, в склонности к острому гротеску, чувстве юмора, в нелюбви к жанровой «чистоте» и определенности.

В самом деле, как однозначно определить жанр вампиловских пьес при всей отчетливости их драматической структуры? Тут и трагедия, и водевиль — все рядом.

Дело в том, что проблема жанра неразрешима вообще, если ее рассматривать только как «проблему жанра», как «техническую» проблему театрального или иного искусства, а не как призму, окно, через которое мы по-новому, неожиданно видим жизнь, распознаем в ней что-то необходимое, но покуда еще невидимое для нас. Жанр у подлинного художника — угол зрения, помогающий увидеть невидимое.

Предметом, который исследовал Вампилов, было нравственное поведение человека в повседневности, буднях. Но как раз кинематографу доступны «особые возможности... наблюдать жизнь, наблюдать ее псевдообыденное течение» (А. Тарковский).

«Кино — это погоня, театр — это переодевание». Афоризм, принадлежащий М. Булгакову, известен и часто повторяется. Но не все отдают себе отчет в том, что имеется тут в виду погоня за временем.

Погоня за временем, — ускользающим, растворяющимся, — тщетное желание ухватить непрерывно меняющееся «выражение лица» жизни — вот самая отчаянная и безнадежная погоня, на которую обречен кинематограф.

И вот первая неожиданность фильма «Валентина»: отсутствие привычной кинодинамики, отказ от того, казалось бы, что составляет сильную сторону кинематографа.

Пространство, на котором развертывается действие в «Валентине», — отнюдь не условное — реальное, обжитое, но режиссер отчего-то его резко ограничивает: кусочек сельской улицы, палисадник, веранда чайной — вот все, что видит зритель.

Где же здесь непременная «бесконечность кино»? Где «случайный прохожий»? Г. Панфилов отказывается также от заманчивой вроде бы возможности показать (хотя бы в воспоминаниях Шаманова) город, показать тайгу, в которой островком затерялся далекий Чулимск, — такой «метафорический» кадр был бы, наверное, весьма выразителен. Но ничего этого нет в фильме.

Однако то, что есть, — рассмотрено пристально, подробно, может быть, даже странно пристально. Ощущение «странности» возникает вот почему.

Происходящее на экране неопровержимо реально, достоверно в деталях и жестах, интонациях и характерах, но отождествиться с

героями, эмоционально «вмешаться», «войти» в фильм запросто — не так уж легко, что-то мешает. Добивается такого впечатления режиссер разными способами, один из них: непривычно длинные статичные планы, как бы навязывающие зрителю позицию именно наблюдателя, а не участника. Перед нами — другая жизнь, но не чужая,— она вызывает размышления...

Достигнутый режиссером эффект напоминает эффект театральной рампы, перешагнуть которую зритель не может — это художественно необходимая дистанция. Но необходимая в театре — в кинематографе ее, как правило, не существует.

...А «случайный прохожий», кстати, в фильме есть! Это поселковый электрик, проезжающий утром и вечером мимо чайной на велосипеде. Фигура эта, как мы помним, весьма необходимая для «чистого» кино, подана здесь иронически акцентированно и напоминает — опять-таки — театральный занавес.

Ну, а все-таки — зачем? Для чего столь необычные в кино эффекты, скорее характерные для эстетики театрального «остранения»? Получается ведь явный парадокс: если в театре «остранение» предполагает открытую условность актерской игры, алогизм ситуации, то здесь «за рампой» идет, в сущности, обыкновенная жизнь: «один к одному», как говорится.

Думается, такая форма сложилась у Г. Панфилова потому, что ему оказалась всего ближе интонация, прослушивающаяся во всех вампиловских пьесах.

«...Мне иногда кажется, что история Анны, история рождения Пашки — все это каким-то образом связано с тем, что случилось с Валентиной в финале пьесы. То есть у меня как у читателя возникло ощущение: может быть, при схожих обстоятельствах у Анны появился Пашка, а это потом роковым образом привело к тому, что произошло у него с Валентиной. Есть какая-то трагическая связь между его безотцовщиной и тем, как он любит... Вампилов — философ, его пьесы — притчи» (из интервью Г. Панфилова журналу «Литературное обозрение»).

Но следует учесть, что притчевое начало в мире Вампилова не означает какой-либо особой условности героев или ситуаций, какого-то «второго», зашифрованного смысла и т. д. Драматург наделяет необыденной значительностью обыденные, повседневные отношения людей друг с другом, и сюжет обретает некоторые черты притчи, потому что любые человеческие отношения, любая встреча являют некое начало, являются драматическим «зародышем» иных отношений.

Совершенный по отношению к другому человеку хороший или дурной поступок (или даже вырвавшееся у человека слово), как нам обыкновенно кажется, принадлежат этому человеку, выражают вроде бы его и только его отношение к кому-то — не к миру же в целом! А на деле — на самом-то деле — и поступок, и слово для кого-то уже существуют как часть этого мира, как присущее миру добро или зло... Все зависимы друг от друга и друг за друга ответственны в нравственном смысле. Вот мысль Вампилова, которая делает его пьесы чем-то неизмеримо большим, чем «физиологический очерк», а его самого — философом и проповедником. И мысль эту режиссер Г. Панфилов попытался воплотить в своей экранизации «Чулимска».

А кинематографическая «бесконечность» в итоге проступает в, казалось бы, замкнутом мире фильма — бесконечность нравственных связей, которыми люди соединены друг с другом и с большим миром. Пусть даже живут они далеко в сибирской тайге...

Подчеркнув притчевое начало вампиловского художественного мира, режиссер несколько потерял в эмоциональной заразительности, присущей первоисточнику. Фильм рациональнее, суше. Но, на мой взгляд, это не просчет, а сознательный режиссерский выбор.

* * *

Фильм ленинградского режиссера Виталия Мельникова «Отпуск в сентябре», созданный по мотивам вампиловской «Утиной охоты», впервые был показан по Центральному телевидению летом 1987 года. Однако премьера запоздала на восемь лет. И кто знает, быть может, выйди фильм в 1979 году, по окончании работы над ним, отчетливее бы прозвучала перекличка-спор фильма В. Мельникова с

другим, формально не имеющим к Вампилову отношения. Впрочем, спор этот достаточно явствен и сегодня.

«...В его походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности. В то же время и в походке, и в жестах, и в разговоре у него сквозят некие небрежность и скука, происхождение которых невозможно определить с первого взгляда».

Эта авторская ремарка из «Утиной охоты» представляет нам Зилова. Но до чего же точно эта ремарка выражает рисунок роли, воплощенный О. Янковским в фильме режиссера Р. Балаяна «Полеты во сне и наяву» (1983)! Сходство поразительное.

Тут, конечно, надо «объясниться», расставить все точки над «i», дабы избежать возможной двусмысленности. Разумеется, Р. Балаян, равно как и сценарист В. Мережко, — вполне самостоятельные и зрелые художники (хотя о масштабах их творчества можно спорить).

Но можно ли говорить о полной и безусловной их «свободе» от того общественно-духовного и эстетического контекста, в котором так или иначе появилась эта работа, и отрицать саму правомерность сравнения героя их ленты с героем Вампилова? Коль скоро они обратились к тому же социально-психологическому типу личности?..

Более того, открытие Вампилова не исчерпывается открытием определенного человеческого типа, — драматург, скорее, открыл коллизию времени, открытие было не «частным»: Вампилову удалось выразить едва ли не стержневой — болезненный, тревожащий — конфликт целого поколения, целого периода жизни нашего общества. По-разному можно формулировать суть этой коллизии, но в общем здесь речь о конфликте личности и общества, о драме, разрушительной для личности, но и для общества небезболезненной.

Не приходится говорить после этого о «независимости» от Вампилова, от его прозрений: и «чисто» художественных, и социально-нравственных, — затронуть эту тему значит с необходимостью вступить в диалог с Вампиловым.

Следовательно, не будет натяжки, если все-таки сопоставить фильм Р. Балаяна с вампиловской «Утиной охотой» и ее экранизацией В. Мельниковым.

Аналогия прослеживается и с характером (и даже внешней пластикой) героя, и на уровне фабулы.

Если приглядеться к фабуле, то вырисовывается любопытный «параллелизм»: многие линии вампиловской пьесы находят себе некое соответствие в фильме Балаяна, им — в смещенном виде — соответствует тот или иной эпизод. Скажем, эпизод с выдуманным приездом матери героя в фильме напоминает сцену с несуществующим фарфоровым заводом в пьесе, — и там и тут герой затем шокирует сослуживцев, рассказывая правду, о которой те догадывались, но не желали знать. Эпизод пикника — «дня рождения», последовавшего «розыгрыша» и финальной истерики героя в «Полетах» соответствует в пьесе скандалу в «Незабудке» и попытке самоубийства Зилова. (Только тут, в пьесе, уже не только герой разыгрывает приятелей, но и его разыгрывают.)

Но в чем направление смещений, смысловых и, я бы сказал, интонационных, которые проделал режиссер? Это-то и интересно.

Отчетливее всего суть смещений, думается, можно уловить, проанализировав следующий эпизод фильма Балаяна: герой, по нелепой случайности, оказывается в машине вместе с женой и юной подругой одновременно. Происходит «объяснение» — сцена полугротескная, но с драматическим подтекстом. И невозможно в этот момент не вспомнить «Утиную охоту» — ту сцену, когда от Зилова уходит жена, кульминационную сцену пьесы. Нельзя забыть монолог Зилова, обращенный к жене, монолог, в котором звучат искренние ноты,— быть может, последний всплеск настоящих, неподдельных чувств,— слышит же все это другой человек...

«А когда поднимается солнце? О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви... А ночь? Боже мой! Знаешь, какая это тишина?.. Ты слышишь? Ну открой же меня!

Ирина. Открыть? Разве ты закрыт?»

Весь свой монолог Зилов произносит, глядя на белый прямоугольник двери — как потрясающе сфокусирована в этой детали: дверь ведь закрыта — вся история вампиловского

героя, его трагедия несовпадения с самим собою!

Со стороны эта сцена может показаться и трагикомической,—но на наших глазах происходит агония личности как нравственного целого. В фильме же Балаяна герой, оказавшись, в сущности, в схожей ситуации, произносит меланхолически-резонерскую тираду: «...И вот передо мной две женщины... Обе мне дороги, обеих я люблю... Бабоньки, дорогие, завтра сорок лет... к кому прислониться?»

Вампилов был жесток к своему Зилову, хотя Зилов-то на такой «монолог» — все же — не был способен. В «Полетах...» перед нами гораздо более элементарная версия подобной личности, однако отношение авторов к герою— чрезвычайно сочувственное. (Не случайно актер О. Янковский на одной из встреч со зрителями, демонстрировавшейся по телевидению, уже совершенно однозначно говорит о своем персонаже: «Это — не отрицательный герой»).

Значительность герою «Полетов...» придают и с помощью символики. Сергей Макаров (так его зовут) рисует какой-то странный знак: человечек, запертый в треугольнике. Сперва этот рисунок-иероглиф появляется на клочке бумаги, затем — на стене дома, мимо которого проходит он, и, наконец, в финальной сцене — на большом полотнище. В знаке этом предполагается, видимо, некий особенный смысл для героя, некий символ — надежды, быть может, мечты о выходе? Этот иероглиф, этот жест самому себе важен в образной системе фильма, да и впрямь знаменателен.

Тут как бы даже ключ к тому, как сделан фильм Р. Балаяна. Ведь все окружение героя, по сути, превращено в набор иероглифов: кто-то представлен жестом, «контуром», кто-то — интонацией... Мир фильма словно аккомпанирует герою, который один лишь наделен чертами субъекта, обладает более менее открытым для нас внутренним миром. Абсолютно неизбежно зритель — постепенно — отождествляется с Макаровым, его глазами начинает рассматривать происходящее. Кстати, любопытно: а где же в «Полетах...» — если «закон аналогии» верен — столь важная в художественном мире «Утиной охоты» фигура Официанта? Эту «нишу» здесь занимает некий кинорежиссер (в колоритном исполнении Никиты Михалкова), изгоняющий героя со съемочной площадки, где тот случайно оказался ночью.

Таким образом, то, что у Вампилова обыденно, но и социально-многомерно, узнаваемо, приобретает в ленте Балаяна манерно-кинематографический характер. Опять-таки трудно удержаться, не сопоставив сцену скандала в «Незабудке», где Зилов «празднует» свои именины, — сцену почти фарсовую, но жесткую, с аллегорической, этакой «феллиниевской» сценой «пикника на обочине» у Балаяна. Вместо социально определенных, несущих в себе жизненные противоречия персонажей Вампилова — милые в общем-то, но несколько невсамделишные, «киношные» люди.

Фильм «Полеты во сне и наяву» был восторженно встречен частью кинокритиков, поспешивших назвать его «открытием» и не заметивших его вторичности, и даже был удостоен Государственной премии СССР 1987 года (создан он был, напомню, в 1983 году; с мыслью о выдвижении на соискание произведений, давно уже состоявшихся, можно спорить, но, коль скоро уж она возникла — почему бы не вспомнить о самом Вампилове, который при жизни не был удостоен каких-либо премий?).

Не буду оспаривать несомненную одаренность режиссера Р. Балаяна (хотя, на мой взгляд, больше тут все же кинематографической искушенности, эрудиции), — но вот что тревожит.

Глубина и значительность «Утиной охоты» состоит в том, что Вампилов развенчал в ней легенду о поколении, показав реальную его трагедию.

Опустошенность Зилова имела «опору» в раздвоенности самой общественной жизни, в ставшей привычной разбалансировке слова и дела, идеала и действительности. Но Вампилов показал ситуацию трезво и объективно. Р. Балаян же возвращает нас к мифу, проделывая некую мифологизацию реальной (социальной!) драмы. Ну что ж, можно, наверное, превратить Вампилова в экзистенциалиста, а «Утиную охоту» в вариацию на темы «Постороннего» Камю, — но не будет ли это насилием не только над мыслью драматурга — над реальными судьбами и драмами? Вопрос риторический...

«Полеты во сне и наяву», вольно или невольно, стали лишь демонстрацией внутреннего состояния героя, констатацией его самочувствия, и оно, это самочувствие, в фильме эстетизировано.

Словом, живет человек, забредший в нравственный тупик, — зовут ли его Зилов или Макаров, — мучается от этого. Можно исследовать его конкретную жизненную драму, в которой отразились и болезни века, быть может, неизбежные, но не менее оттого горестные, а можно сотворить о нем миф и, по существу, оставить на произвол судьбы. Можно и так, но это уже, объективно, против Вампилова.

В. Мельников, поставивший фильм «Отпуск в сентябре» по мотивам «Утиной охоты», предлагает иное, более приземленное, жесткое решение «зиловской» темы.

История вампиловского героя рассмотрена здесь сугубо извне, беспощадно, без флера.

Никакого ореола вокруг персонажей, резкая светотень: Саяпин — инфантильный бездельник; его жена Валерия — напористая мещанка, тип вполне узнаваемый; и другие. Сам же Зилов (впечатляющая актерская работа давно уже ушедшего из жизни Олега Даля)— и это видишь с первых же кадров, с первых же слов и жестов — человек конченый. Его жизнь исчерпывается физическим существованием — и это жутко.

В медицине есть термин «фантомные боли» — это когда у человека болит удаленный или атрофированный орган, вот такие боли словно бы изредка, глухо беспокоят Зилова-Даля.

Пронзительнейшая сцена — разговор с женой (И. Купченко), когда она вспоминает начало их любви, чувство, которое было, вспоминает тогдашнего Зилова, — а Зилов ничего этого не помнит, не может вспомнить и начинает поспешно, жалко ласкать жену, пытается душевную боль, боль пустоты перебить физическим влечением. Сцена сыграна с редкой душевной обнаженностью, почти «на грани», так, что смотреть ее нелегко.

И все же, несмотря на несколько поразительных художественных решений, что-то мешает оценить фильм «Отпуск в сентябре» как безоговорочную удачу. Не хватает внутреннего движения, которое в пьесе Вампилова есть. Ведь разница между созерцанием «хладного трупа» и зрелищем агонии живого еще человека, происходящей на наших глазах, существенна.

В фильме Мельникова недостает воздуха — а это важно потому, что вот этот воздух едва ли не главный «секрет» Вампилова.

Удивляет метаморфоза, произошедшая в «Отпуске в сентябре» с Кушаком и Официантом. Такое впечатление, что выдающемуся актеру Е. Леонову в роли Кушака нечего играть. Но ведь в предыдущей вампиловской экранизации Мельникова, «Старшем сыне», актер показал глубокое проникновение в замысел драматурга, с редкой силой воплотил на экране в роли Сарафанова сокровенный вампиловский нравственный идеал. Возникает догадка: быть может, Е. Леонову ближе и органичнее именно позитивное начало в вампиловском мире, а Кушак — фигура несимпатичная и даже отталкивающая. Но в таком случае налицо режиссерский просчет — неверный выбор актера на роль, Е. Леонов невольно сместил акценты, и его Кушак вызывает, скорее, симпатию, выглядит добряком.

И уж вовсе непонятна трактовка образа Официанта. Он превратился в определенно положительного героя! Но с подобным смещением невозможно согласиться.

У Вампилова нет мелочей, и неверная трактовка даже второстепенного персонажа может обусловить неуспех целого. Официант же — персонаж отнюдь не второстепенный, это, если угодно, главный антагонист Зилова: тут проходит внутренняя «ось» пьесы. И если Официант прав, если правы эти железные мальчики, «младшие братья» зиловых, твердой поступью вышедшие на авансцену нашей недавней жизни, то рефлексия, мучения и фантомные боли — вздор, а история Зилова — не драма, а просто глупая слабость. Если угодно, Официант — это уже отмучившийся, «переболевший» нравственными муками Зилов, принявший свое сугубо физическое существование за несомненную норму. И если это — полюс положительный, то все приобретает жутковатый оттенок. И думать так Вампилов не мог.

И все-таки «Отпуск в сентябре» своей горькой и тревожной нотой созвучен времени, в

которое он создавался, хотя и не закрывает путь другим возможным экранизациям «Утиной охоты».

* * *

Экранизация «Старшего сына» (1976) осуществлена В. Мельниковым на телевидении. В этом, разумеется, есть доля случайности: режиссер постоянно работает для «большого» экрана. Но по сути это оказалось далеко не случайным, ибо содержание пьесы, ее глубинный смысл обнаружил — вдруг — странное созвучие самому существу телевидения как феномена сегодняшней жизни.

Споры о ТВ вообще очень ожесточенны, а мнения, высказываемые в ходе этих споров,— удивительно противоречивы. Тем не менее рискну подключиться к ним, задавшись следующими вопросами: что такое эстетика ТВ? Существует ли специфический «телеобраз»?

Слишком разнородные (в эстетическом смысле) явления объединяет телепрограмма, художественный же образ — всегда некая целостность и не может быть чем-то эклектичным, поэтому говорить об эстетике ТВ, видимо, преждевременно. Не считать же телевизионные «спецэффекты» (или видеошлягеры, которыми «прослоена» телепрограмма) основой ТВ-эстетики! Вся эта телетехнология — сама по себе — к художественному образу, к искусству отношения не имеет.

Но если об эстетике телевидения говорить трудно, то, несомненно, существует сверхидея ТВ. И этой сверхидеей является идея людской общности.

Что, собственно, происходит в вампиловском «Старшем сыне»? Перед нами «случайное семейство», распадающаяся семья. Сарафанов неудачник, рвется куда-то его сын Васенька, стремится устроить свою жизнь дочь Нина — и все в одиночку. Рвется связь между ними, нравственная связь. И вот сюда «залетает» еще и студент Бусыгин, «блуждающий атом», безотцовщина, вот уж, кажется, ненужный здесь... Но происходит вдруг «чудо»; возникает какая-то новая связь между всеми этими людьми, рождается новая человеческая общность. Притом, что в категориях обыденной, «прагматической» логики этого не объяснить.

Надобно еще сознавать, что само понятие общности неоднозначно, противоречиво. Человеческая общность может существовать с разными нравственными «векторами». Может быть и такая общность, члены которой, как ни парадоксально, разъединены и нравственно чужды друг другу.

Вот и телевидение, родившись в определенном социальном контексте, как таковое рассчитано было, скорее, на общность потребителей, общность людей, которых объединяет лишь развлечение, комфорт, — а значит, в нравственном плане не объединяет ничего. Речь тут и об абстракции реального облика жизни, и о тех «готовых» образах, в которых входит в дом зрителя большой и сложный мир.

Каждый человек нуждается в духовном пространстве— в перспективе своего духовного движения. Но обыватель испытывает потребность не в подлинном духовном пространстве, которое надо завоевывать — прилагать усилия ума и души, выходя при этом за пределы своего непосредственного физического бытия, — а в пространстве «ложном», представляющем собой механическое удвоение его эгоистического мирка. «Ложное пространство» охотно предлагается обывателю всякого рода «массовой культурой», которая показывает ему некое подобие его же жизни, но выхолощенное, уплощенное, увиденное вещно-оценивающим глазом. Тут не человек познает жизнь и других людей, а жизнь «адаптируется» для зрителя. И часто, глядя на экран телевизора, обыватель агрессивно самоутверждается. Словом, понятие общности осуществляет себя противоречиво и неровно — в движении от псевдообщности к подлинной и полноценной человеческой общности.

Но это ведь и нерв пьесы Вампилова!

В «Старшем сыне» это противоречие развернуто как сюжет, просвечивает на всех «уровнях», в каждой клеточке пьесы! Причем Вампилов дает именно положительное разрешение темы: мы видим обретение людьми родства, — нет, скорее, сотворение его. Родство, общность изначально связывают людей, но сегодня к этой нравственной связи надо пробиться, сотворить ее.

Успех режиссера В. Мельникова в этом телефильме прежде всего в том, что он верно почувствовал: пьеса требует максимально

простой и демократичной формы воплощения, требует безусловности. Все доверено актерам (людям, лицам), и выбор был точен. Работа же здесь Е. Леонова, — быть может, самое удачное воплощение вампиловского характера вообще. Много снимался после роли Бусыгина Н. Караченцов — но, положа руку на сердце, что может сравниться с этой его ролью? А в целом фильм по пьесе Вампилова оказался внезапно идеально телевизионным произведением.

Но убежден: экранизация любой из вампиловских пьес может стать как «идеально телевизионным», так и «идеально кинематографическим» и даже, предположим, «идеально стереоскопическим» произведением — так велик напор жизненной правды, необходимой людям, жизненного содержания в его творчестве; надо только суметь все это сохранить. Вот это, наверное, главный урок, бесспорный вывод: творчество Вампилова, явившись импульсом для кинематографистов, стимулировало их собственные открытия в сфере поэтики киноискусства, обновило саму кинематографическую форму, систему выразительных средств. «Встреча» вампиловского содержания с киноискусством оказалась плодотворной.

И. Зборовец

А. Вампилов на украинской сцене

Русско-украинские литературные, театральные связи имеют давние традиции. Обширна география этих связей. Встреча с подлинным искусством сокращает любые расстояния. Поэтому возможна в культурной жизни страны и такая орбита: Иркутск — Киев, Иркутск — Харьков, Иркутск — Николаев...

В 1971 году А. Вампилов в составе многонациональной делегации советских писателей побывал на Николаевщине, выступал перед украинскими кораблестроителями и хлеборобами, читал свои лирические и юмористические рассказы о людях Сибири, тружениках разных профессий. Он буквально покорил слушателей силой своего дарования. Об этом писала газета «Південна правда» (Николаев).

С огромным уважением говорил А. Вампилов о творчестве классика украинской советской драматургии А. Корнейчука, об использовании его опыта в жанре лирической комедии и в связи с этим вспоминал пьесу «Калиновый гай», от которой, вероятно, протягива-

Трагическая смерть драматурга оборвала эти планы. Если бы комедия А. Вампилова увидела свет рампы в Николаеве, то, возможно, это стало бы поворотом в репертуарной политике на Украине.

Длительный период пьесы иркутского драматурга не рекомендовались к постановке в профессиональных театрах русской и украинской драмы и в этом смысле фигурировали в специальном списке наряду с некоторыми драматическими произведениями В. Шекспира и А. Островского (!). Драмы «Утиная охота» и «Прошлым летом в Чулимске» были встречены цензорами настороженно, так как раскрывали правду жизни, слишком дерзкую для общественно-литературной атмосферы периода.

В те годы зиловщина как социально-психологическое явление игнорировалась. Изображение в пьесе «Утиная охота» распада личности, морального уродства, разрыва между словом и делом порождало сомнения: не приведет ли этот перевес «тени» над «светом» к

Зборовец И. А. Вампилов на украинской сцене // Сибирь. – 1989. – №1. – С. 119–122.

О спектаклях по пьесам А. Вампилова.

А. Вампилов, в противоположность А. Арбузову, рассматривает процесс не созидания, а разрушения характера, исследует агонию человека, утратившего смысл жизни. Но ведь истоки этой проблемы общие. В нашей действительности есть и ситуации, показанные в «Иркутской истории», и психологический феномен Зилова, порожденный определенным социальным окружением и нравственным климатом. Однако театральная цензура руководствовалась все тем же беликовским принципом: как бы чего не вышло!

Поэтому на Украине драматические произведения А. Вампилова вначале ставились на сцене студенческих самодеятельных театров. Среди молодых актеров-любителей пьесы иркутского драматурга «Прощание в июне», «Предместье», «Дом окнами в поле», «Двадцать минут с ангелом», «Прошлым летом в Чулимске» перепечатывались на машинке или переписывались от руки из альманахов «Ангара», «Сибирь», журнала «Театр». Редкие отдельные издания комедий «Старший сын» (1970, 1972), «История с метранпажем» (1971), драмы «Прошлым летом в Чулимске» (1974), конечно, не могли удовлетворить широкие круги читателей, а сборники пьес, выпущенные Восточно-Сибирским издательством (1972), оказались малодоступны.

На молодежной сцене особенно популярной была комедия «Прощание в июне». С большим успехом ее поставил львовский студенческий театр «Гаудеамус». Но даже в рамках самодеятельной режиссуры ранняя комедия А. Вампилова не сразу пробила себе дорогу. Так, например, в Харьковском институте культуры в 1974 году ректор запретил спектакль «Прощание в июне» для широкой аудитории, посчитав, что фигура Репникова может вызвать у студенчества оскорбительные для него аналогии и сопоставления.

Однако эта неудача не остановила энтузиастов. В 1974—1975 годах студенты отделения режиссуры массовых зрелищ поставили «Старшего сына» и «Прошлым летом в Чулимске» в качестве дипломных спектаклей под руководством педагога М. М. Мушкиной. В дальнейшем студенты театрального факультета Харьковского института искусств подготовили спектакль «Прошлым летом в Чулимске». С тех пор участие в дипломном спектакле по пьесе А. Вампилова стало лучшей проверкой сил молодых актеров.

Популяризации драматических произведений А. Вампилова на Украине в разные годы способствовали гастроли Калининского драматического театра («Старший сын», 1970), Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина («Свидание в предместье», 1972; «Прошлым летом в Чулимске», 1975), Московского драматического театра им. К. Станиславского («Прощание в июне», 1973, 1976, 1984), Красноярского краевого драматического театра им. А. С. Пушкина («Прошлым летом в Чулимске», 1974), Кишиневского русского драматического театра им. А. П. Чехова («Прошлым летом в Чулимске», 1976), Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева («Свидание в предместье», 1976; «Провинциальные анекдоты», 1983), Калужского драматического театра им. А. В. Луначарского («Провинциальные анекдоты», 1978), Ленинградского театра им. Ленинского комсомола («Утиная охота», 1978).

Оренбургский театр драмы им. А. М. Горького показал в 1981 году в Кировограде, Донецке и Жданове спектакль «Провинциальные анекдоты» (режиссер Н. Тхакумаев). В 1983 году Тамбовский областной драматический театр им. А. В. Луначарского на гастролях в Донецке и Жданове представил свою работу — спектакль «Маленькие комедии». В 1987 году Курский драматический театр им. А. С. Пушкина привез на Украину спектакль «Утиная охота».

Как яркое событие в театральной жизни республики запомнились гастроли Рижского театра русской драмы им. А. Упита, который впервые в 1976 году поставил «Утиную охоту» (режиссер А. Ф. Кац). Украинский зритель увидел ее в 1980 году.

Разумеется, широкую известность на Украине приобрели телефильм «Старший сын» (1976), который является первой экранизацией произведений А. Вампилова, кинофильм режиссера Г. Панфилова «Валентина» (1981), телефильм «Отпуск в сентябре» (1987).

«Заговор молчания» вокруг драматургии А. Вампилова был нарушен уже в конце 60— начале 70-х годов. По данным, опубликован-

ным в журнале «Театр», только в 1974 году на долю «Старшего сына» приходилось 1660 спектаклей в 52 театрах страны, «Прощание в июне» соответственно — 830 и 31, драма «Прошлым летом в Чулимске» — 825 и 30, «Провинциальные анекдоты» — 214 и 9.

В 1969 году, когда пьесы А. Вампилова еще не были широко известны, Донецкий украинский музыкально-драматический театр им. Артема одним из первых поставил на украинском языке спектакль «Прощание в июне» (режиссер М. Волошин, художник В. Лазаренко). Перевод на украинский язык выполнил Д. Бобырь, и его текст стал каноническим для всех театров республики.

Естественно, что на Украине к драматургии А. Вампилова прежде всего обратились театры русской драмы. В сентябре 1973 года в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова состоялась премьера — «Прощание в июне» (режиссер спектакля А. Биляцкий). Почти одновременно в Днепропетровском драматическом театре им. А. М. Горького впервые на Украине была осуществлена постановка комедии «Старший сын» (режиссер заслуженный артист УССР Е. Зубовский, художник Н. Владимирова). В спектакле приняли участие заслуженные артисты УССР Ж. Мельников и В. Баенко.

Но особый интерес вызвала новая работа Николаевского русского драматического театра им. В. Чкалова. Здесь в марте 1974 года состоялась премьера спектакля «Старший сын» (режиссер Б. Светличный, художник В. Меркалов). В спектакле приняли участие заслуженный артист УССР П. Моровенко, артисты Н. Кучинский, Т. Сурков, В. Бондарь, А. Ганноченко, С. Кавуров, В. Каюмова, В. Корень, С. Лагошляк и другие.

Эти встречи украинского театрального зрителя с драматическими персонажами А. Вампилова произошли в годы, отмеченные скорбью невосполнимой утраты, они явились памятью талантливому советскому драматургу. Поэтому оценки театральных критиков, рецензентов были особенно взыскательными, не терпели малейшей фальши.

В 1975 году в издательстве «Искусство» вышла книга «Избранное» — первое научное издание произведений А. Вампилова, снабженное справочным аппаратом. Как правило, если писателя активно издают, то начинается широкое изучение его творчества, усиливается внимание к нему и со стороны театральных режиссеров, кинематографистов, переводчиков, диссертантов.

Во второй половине 70-х годов к творчеству А. Вампилова обращаются театры украинской драмы, при них осуществляются переводы его драматических произведений на украинский язык.

В 1975 году комедию «Прощание в июне» поставил Винницкий украинский музыкально-драматический театр им. Б. Садовского (режиссер К. Г. Пивоваров), в следующем году — Запорожский украинский областной драматический театр им. Н. Щорса, еще через год — Кировоградский украинский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого.

Когда в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко режиссер Я. Л. Резников взялся за постановку комедии «Прощание в июне», перед ним стояла нелегкая задача. К 1980 году существовало уже около сотни сценических воплощений этой пьесы, десятки театров привозили на Украину во время гастролей спектакль о приключениях студента Колесова. Но возможности искусства неисчерпаемы, если опорой служит сама действительность.

Именно в Харькове — огромном студенческом городе — возникают и сюжеты, близкие к вампиловским и непохожие на них. Достаточно вспомнить нашумевшую в конце 50-х годов историю с «Голубой лошадью», или период повального увлечения ремарковскими героями в начале 60-х годов...

Здесь в молодежной среде можно встретить Колесова, Фролова, Букина, Машу и Таню. Вполне понятно, что в конце 70-х годов изменилась общественная обстановка, в которой действовали вампиловские персонажи, изменился материальный мир, утратили остроту приметы студенческой жизни середины 60-х годов. Да и сами студенты во многом переменились с тех пор. Все это создавало дополнительные трудности в работе режиссера и театрального коллектива.

Я. Л. Резников, заведующий кафедрой истории театра Харьковского института искусств,

хорошо знает морально-психологические проблемы студенческой молодежи, вступающей в жизнь. Он разгадал драматургический секрет самого феномена «Прощание в июне». Премьера спектакля состоялась в октябре 1980 года и стала заметным явлением в театральной жизни Харькова.

Широкое признание драматургии А. Вампилова областными украинскими театрами, успех спектакля «Прощание в июне» в Харькове прибавили смелости и столичным театрам, которые в данном случае оказались в числе догоняющих. Парадоксально, что первые театры республики выступили в роли последних.

В 1981 году Киевский украинский драматический театр им. И. Франко поставил комедию «Прощание в июне» (режиссер спектакля В. Н. Кузьменко-Белинде).

Поневоле вышло, что вампиловский репертуарный пейзаж был однообразным на Украине. Лишь семь театров поставили «Прощание в июне», два — комедию «Старший сын». Пьесы «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» так и не появились на афишах. Сказалось не только противодействие цензуры, но и стремление сгладить противоречия жизни, обойти острые социально-нравственные проблемы. Такая позиция снизила и роль театра как общественной каферы. Не случайно вопрос о «горящих» театрах на Украине в этот период стоял особенно остро.

С годами украинские театры начали осваивать и другие возможности драматургии А. Вампилова. 7 мая 1987 года в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко состоялось открытие малой сцены «Березіль». Само это название говорит о продолжении традиций — его носил театр до войны в период деятельности режиссера Л. Курбаса. Это событие совпало с премьерой. Харьковчане увидели спектакль «Воронья роща» (перевод на украинский язык Ю. Стадниченко).

Главный режиссер театра А. Биляцкий сумел воплотить правду жизни в яркой театральной форме, наполненной глубоким философским смыслом. Успех новой работы шевченковцев—результат внимательного, заинтересованного прочтения вампиловской пьесы. В газете «Соціалістична Харківщина» была помещена рецензия Л. Поповой «Малая сцена и большая победа» (24 мая), в которой подчеркивалось, что ставить А. Вампилова — нелегкая задача и решить ее под силу далеко не каждому режиссеру. Шевченковцы осуществили все поставленные перед ними творческие условия, постигли концепцию драматурга, для которого человек всегда в любых условиях должен оставаться на моральной высоте.

Малая сцена открывает широкие перспективы для постановки одноактной драматургии А. Вампилова («Свидание», «Цветы и годы», «Дом окнами в поле», «Провинциальные анекдоты»). Интерес к ней со стороны театров растет.

На новом уровне общественного сознания, в период духовного обновления нашего общества появилась возможность разрушить искусственные запреты на драматургию А. Вампилова, отменить табу, которое сковывало театральную жизнь многие годы.

Однако это не снимает трудностей возвращения к творчеству иркутского драматурга. Очевидно, что пьесы А. Вампилова активнее всего ставили на сцене во второй половине 70 — начале 80-х годов, когда советская литература готовила общество к переменам. В те годы под огнем критики оказался так называемый антигерой (произведения В. Маканина, Р. Киреева и других). Далее наступил закономерный спад, отлив интереса к вампиловской драматургии.

В то же время пьесы «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» стали основой для возникновения поствампиловской драматургии. Ведущие темы и проблемы автора «Старшего сына» получили развитие в пьесах О. Мосягина, Л. Петрушевской, А. Соколовой, Г. Горина, А. Галина, Н. Матуковского и других.

Исследование проблем, выдвинутых драматургом в «Утиной охоте», вызвало целое направление в кинематографе («Афоня», «Полеты во сне и наяву», «Осенний марафон», «Влюблен по собственному желанию»).

Идеи А. Вампилова, его концепция жизни и человека разными путями обогащают духовный опыт нашего современника.

КОРОТКО О КНИГАХ

И. Ю. Харкеевич. Музыкальная культура Иркутска. Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та. 1987. 280 с.

История Иркутска постоянно привлекает внимание исследователей и читателей Сибири. Многие грани истории этого крупного экономического, научного и культурного центра Восточной Сибири изучены. В монографиях и статьях В. П. Трушкина и Н. С. Тендитник о писателях, А. Д. Фатьянова о сокровищах Иркутского художественного музея, П. Г. Маляревского о драматическом театре получили отражение различные стороны культуры. Этот перечень сейчас пополнился интереснейшей книгой о музыкальной культуре Иркутска. Ее автор — кандидат искусствоведения, доцент Иркутского пединститута И. Ю. Харкеевич — представила серьезное научное исследование проблемы в широком плане как в смысле хронологии — с конца XVIII в. до наших дней, так и в смысле полноты тематической. Освещены все формы проявления музыкальной культуры — от народных песен, скоморохов, вертепов, любительских спектаклей и музицирования к профессиональной оперетте, опере, концертам, а также музыкальному образованию и его деятелям. Широта охвата вопросов темы удачно сочетается с глубиной их научного исследования на очень солидной основе множества первоисточников (более 450 наименований), впервые извлеченных буквально по крупицам, «по-старательски», из архивов государственных и личных, широкого круга общей и специальной периодической печати — столичной и местной, а также записанных автором воспоминаний деятелей музыкальной культуры Иркутска.

Несмотря на широкие хронологические рамки, книга — не общая схема, а живой, увлекательный рассказ о разных периодах музыкальной культуры Иркутска, с характеристикой их общеисторических черт и особенностями их музыкальной жизни. Везде мы видим живую, образную картину развития разных музыкальных жанров, знакомимся с исполнителями — певцами, дирижерами, узнаем, какие музыкальные произведения, когда, кем и как впервые исполнялись в Иркутске.

Наиболее подробно представлено основное содержание исследования — с конца XVIII в. до 1930-х гг. Превосходен раздел о роли декабристов в музыкальной культуре Иркутска. Здесь использованы кроме ранее известных сведений о Ф. Ф. Вадковском и А. П. Юшневском множество новых материалов, извлеченных из писем М. Н. Волконской, из фонда Н. Д. Свербеева (зятя С. П. Трубецкого) в Государственном архиве Иркутской области; о фортепиано М. Н. Волконской, о нотах, получаемых из Европейской России, об особенностях музицирования и репертуаре декабристов, о музыкальных вечерах у Волконских, о роли Девичьего института в музыкальной жизни города и в музыкальном образовании того времени.

Очень интересны разделы о концертной и оперной деятельности в Иркутске любителей и профессионалов-гастролеров. Поражает разнообразие жанров и трупп различных национальностей: украинцы, поляки, латыши, евреи, итальянцы, чехи, негры из США, японцы, оперетта Ш. Лекока «Чайный цветок» с подлинными китайскими костюмами и обстановкой, бурятские этнографические вечера. Жаль, что не названо первое в Иркутске исполнение монгольских песен группой мальчиков из Урги, приехавших в Иркутск на учебу в 1913 г.

Выделяются своей новизной сведения о духовных концертах в Иркутске. Давненько их нигде не упоминали. А между тем в истории мировой музыкальной культуры церковная музыка сыграла определенную роль. Церковная музыка — это не только молитвы, духовные песни, но и более сложные — концерты, оратории и т. п. Музыкальные произведения на религиозную, ритуальную, мифологическую тематику высокопрофессионального звучания и сильного эмоционального воздействия на слушателей создавали многие выдающиеся композиторы разных стран: «Верую...» П. Чайковского, концерты Д. Бортнянского, «Сотворение мира» И. Гайдна, оратория А. Рубинштейна «Потерянный рай», «Реквием» В. Моцарта. Эти и многие другие произведения исполнялись в Иркутске архиерейским хором, большими совместными светскими и духовными хорами с солистами и оркестром. Среди солистов и хористов были прекрасные голоса.

Очень интересны разделы книги И. Ю. Харкеевич о музыкальных учебных заведениях, их деятелях, их роли в развитии музыкального образования и пропаганде музыки среди более широкого круга иркутян. Среди таких деятелей особого внимания автора и читателей заслуживает Р. А. Иванов. Он не только квалифицированный преподаватель и один из создателей известной иркутской Частной музыкальной школы, но и композитор — ученик Н. А. Римского-Корсакова, и талантливый музыковед. С 1900 г. по 1915 г. он систематически и с поразительной оперативностью публиковал высококвалифицированные рецензии на спектакли, оперы и оперетты, на концерты, не только популяризируя музыкальное искусство, но и давая образцы взыскательной критики; учил слушателей понимать и любить музыку, развивал и шлифовал музыкальный и вообще художественный вкус слушателей. Его статьи и рецензии в иркутских газетах «Восточное обозрение» и «Сибирь», где он возглавлял музыкальные отделы, его лекции-концерты — это постоянная подлинная школа музыкальной культуры для широкого круга иркутян. Эта деятельность Р. А. Иванова явилась одним из факторов, способствовавших превращению иркутян во взыскательных ценителей искусства, а Иркутска — в музыкальный город. Традиции, заложенные Р. А. Ивановым, нашли своих продолжателей.

Исключительный интерес представляет глава книги о музыкальной жизни Иркутска после установления здесь Советской власти в 20—30-х гг. и особенно о «музыкальных пятницах» на педагогическом факультете университета. Если в разделах книги о дореволюционном периоде автор правильно подчеркивает, что высокое искусство было доступно сравнительно узкому кругу людей зажиточных, то в этой главе хорошо показана огромная тяга народа к культуре, в том числе и к музыке после Октябрьской революции, и то, как группа энтузиастов «музыкальных пятниц» во главе с Б. М. Поповым, Е. Г. Городецкой и В. П. Томиловской шла навстречу этому тяготению и удовлетворяла его. Эту редкостную по своей целеустремленности популяризаторскую деятельность продолжили Иркутский радиокомитет и целая плеяда музыкантов; особое место среди них занимают заслуженные работники культуры РСФСР В. Ф. Сухиненко и В. А. Патрушев, отдавшие музыкально-просветительской работе более 50 лет своей жизни. Нельзя не назвать и более молодых музыковедов — И. Чижову, Л. Янковскую, да и автора рецензируемой книги И. Ю. Харкеевич с ее циклом 25 лекций-концертов

по Иркутскому телевидению и выступлениями в различных аудиториях.

Последняя глава книги, завершающая глубокое исследование, — это обзор событий иркутской музыкальной жизни 30—70-х гг., прокладывающий тропинку в будущее более подробное изучение этого периода.

Книга хорошо, со вкусом оформлена и иллюстрирована уникальными фотографиями иркутских музыкантов и выдающихся артистов, музыкальных коллективов, городских зданий, связанных с музыкальной жизнью Иркутска.

Совсем немного городов нашей страны имеют такую книгу — историю своей музыкальной культуры. Появление такого научного труда в Иркутске делает честь автору и издательству.

ЕЛЕНА ДАРЕВСКАЯ



Издательство «Молодая Гвардия» готовит к печати книгу-альбом «Сибирь, Сибирь...» Автор текста Валентин Распутин. Но кроме текста в эту книгу включено около 300 фотоиллюстраций, выполненных Борисом Дмитриевым. Комментируя и развивая авторскую мысль, фотографии должны дать читателю конкретное представление о заповедных местах Сибири, ее природе и людях, ее прошлом и настоящем.

Работа над книгой фактически началась десять лет назад, когда был написан очерк «Иркутск с нами», опубликованный в альманахе «Памятники Отечества» № 1 и проиллюстрированный фотографиями Б. Дмитриева.

Особенно напряженно работа над книгой велась последние пять лет. Со всей ответственностью и самоотдачей собирал Дмитриев материал для книги. Поиски в архивах, съемки в музеях и библиотеках. По нескольку раз он побывал в Тобольске и Томске, Кяхте и Барнауле, на Телецком озере и в Тофаларии, дважды посетил Русское Устье на Индигирке и, конечно, Байкал, Ольхон, Хамар-Дабан... И вот работа закончена. Она потребовала концентрации всех сил, мастерства и вдохновения. Она стала итогом двадцатипятилетней творческой деятельности Бориса Дмитриева.

Сейчас, когда ему исполняется 50 лет, можно вспомнить, какой большой общественный резонанс имели его выставки. Первая большая выставка «Старый Иркутск» открылась в иркутском Доме художников в 1969 г. Свое 40-летие Б. Дмитриев отметил открытием выставки в Иркутском художественном музее. Позднее выставка успешно экспонировалась в Москве.

К этому времени Дмитриев был уже сложившимся фотохудожником со своим стилем и своей темой в искусстве. Коренной иркутянин, он выступил как исследователь и пропагандист, показывая в своих работах неповторимую архитектуру родного города.

Затем интересы становятся шире. Снимая памятники архитектуры и искусства Сибири, Дмитриев сотрудничает с Художественным музеем, Союзом художников, Иркутским отделением ВООПИК. Он иллюстрирует книги по краеведению, печатается в газете «Советская культура», альманахе «Памятники Отечества» и других изданиях. В это время усиливается интерес к портрету и пейзажу.

Б. Дмитриев по профессии врач, а занятие фотографией давно переросло рамки простого увлечения и стало вторым призванием, неотъемлемой частью его жизни. Фотография для него — это способ выразить свое отношение к жизни, свое понимание красоты и одновременно свою гражданскую позицию. Творчеству Б. Дмитриева присуще органическое единство документального и художественного начал. Не приемля внешние эффекты, он добивается выразительности в соединении знания с глубоким переживанием увиденного. Он тонко использует возможность фотографии передавать вечное, непреходящее в ликах природы и лицах людей.

В свои 50 лет Борис Дмитриев в полной мере сохраняет удивительную неутомимость в восприятии впечатлений жизни, творческую энергию, преданность делу, своей жизни.

Мы горячо поздравляем Бориса Васильевича с 50-летием и желаем дальнейшего расцвета его таланта.

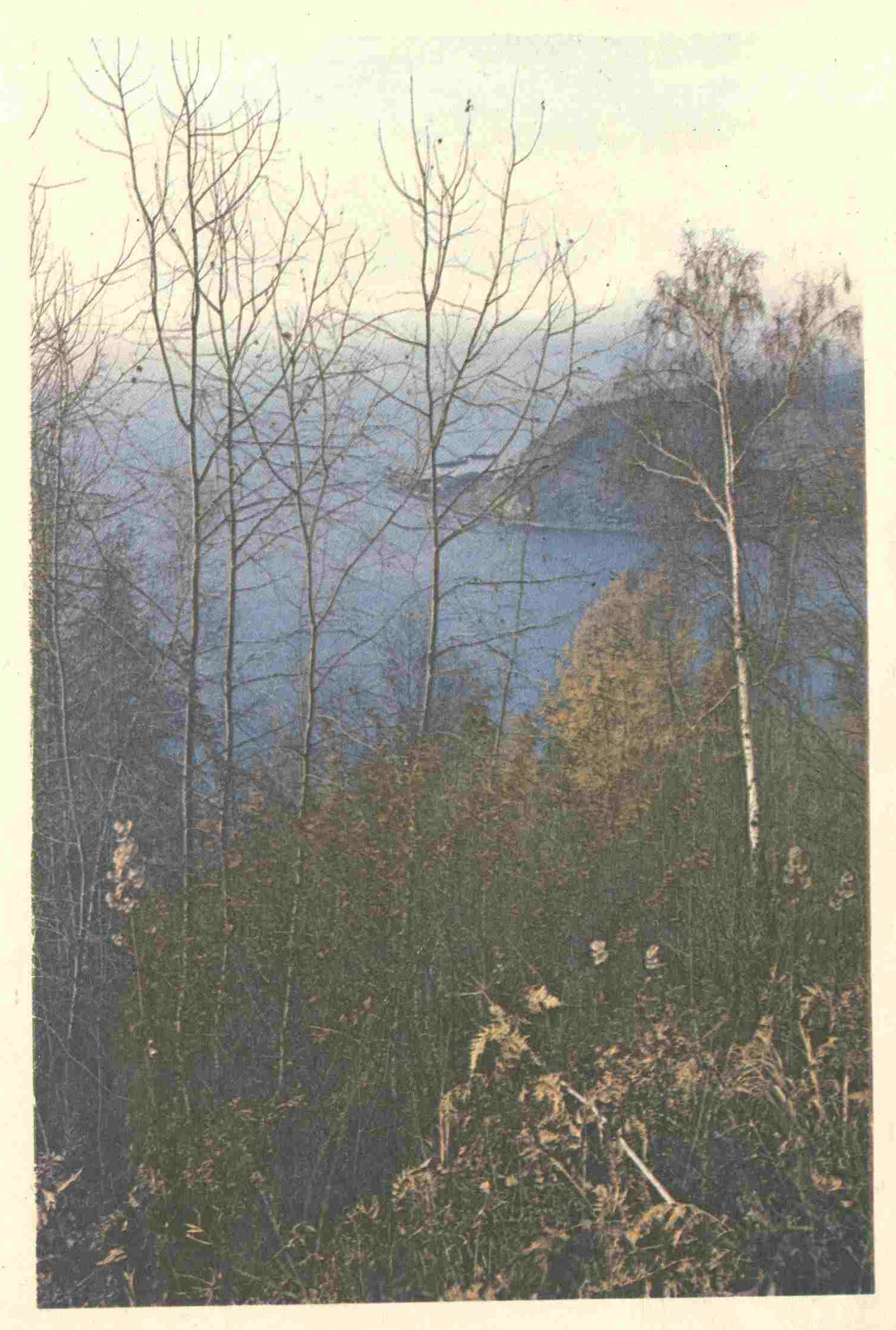
И. БОРДОВСКАЯ

Составитель В. В. Козлов
Редактор О. Е. Арбатская
Художественный редактор В. А. Лужков
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Г. Ф. Клешнина

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23. Союз писателей тел. 3-45-78.

ИБ № 1564.
Сдано в набор 28.10.88.
Подписано в печать 3.02.89.
НЕ 01038.
Формат $70 \times 90^1/_{16}$.
Бумага тип. № 1.
Усл. печ. л. 9,95 (с вкл.).
Уч.-изд. л. 12,92 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 12,58.
Тираж 12 000 экз.
Заказ 1830.
Изд. № 6271.
Цена 70 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.



Исток

70 к.



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН	ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ	ЗАЛОГИ. Повесть
ВАЛЕРИЙ НЕФЕДЬЕВ	ВОЗРОЖДЕНИЕ БАБРА. Рассказ
БОРИС ЛАПИН	БЕС В РЕБРО. Рассказ.
ЛЮБОВЬ ЩЕДРОВА	РАССКАЗЫ
ЛЕОНИД ОГНЕВСКИЙ	СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Иркутск, Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1989